

Речники



Александр
Берник

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Александр Берник

Речники

«ЛитРес: Самиздат»

2019

Берник А.

Речники / А. Берник — «ЛитРес: Самиздат», 2019

Степная сказка для взрослых. Написана в стиле ненормативной лексики, но без применения мата, хотя он подразумевается со стороны читателя. Итак... Жили-были во времена давние люди речные. Не то чтобы в реках плавали, словно рыбы невиданные. Нет, конечно же. Хотя в сказках и такое дозволено. А эти были люди как люди. Ничем не отличались от нынешних. Две ноги, две руки, голова бестолковая. Просто на берегах воды проточной селились семьями, оттого и звались речниками, так сказать, по месту проживания... Содержит нецензурную брань.

1. Присказка.

Жили-были во времена давние люди речные. Не то чтобы в реках плавали словно рыбы невиданные. Нет, конечно же. Хотя в сказках и такое дозволено. А эти были люди как люди. Ничем не отличались от нынешних. Две ноги, две руки, голова бестолковая. Просто на берегах воды проточной селились семьями оттого и звались речниками, так сказать по месту проживания.

Большими родами жили, да не по-нашему теперешнему. Бабы с детьми малыми бабняком [1] обустранивались с нравами жёсткими да порой не по-человечьи лютыми. Мужики отдельно сами по себе – артелью [2] вольною никем окромя атамана выбранного, почитай непуганые. Промышляли по мясу разному да по делам важным шастали, куда важней чем за подолы бабы держаться да сопли утирать подрастающему поколению.

В те времена далёкие, благодать была для рода мужицкого. Не то что нынче случается. Куда не плюнь – мужик обиженный. Никто им тогда на мозги не капал, да и не выносил их с помоями за порог в канаву сточную. До жён своих хаживали как положено по великим праздникам, а в простые дни и не бывали почитай в бабьем селении, чтоб не мозолить лишний раз глаза их похотливые, да ещё чего натирать из того что хоть сотрись на «нет», всё равно не за мозолится. Правда, на зимы снежные да морозные стойбища поближе к баймакам [3] устраивали. Ну, там уж сам бог велел, как водится. Там уж в холода не до вольностей.

Таким «Макаром» в те времена давние почитай все жили без исключения. Так было принято да предками заповедано. Давненько то дело было. Так давно, что даже тех, кто из уст в уста об этих временах сказывал и тех за десятки поколений забыли напрочь, как и не было. Как теперь бы мужи учёные поведали с умными лицами, было то ещё в веке каменном. Почему не в деревянном? Да Бог его знает. Им видней учёным-то. Только железа калёного тогда люди и впрямь не ведали, а медное что в руки попадало, так это от соседнего народа арийского. [4]

Жили мирно, никого не трогали да меж собой по пустякам ни цапались. Друг на друга войнами не хаживали, ибо места всем хватало раздольного, да и делить-то особо было нечего. К тому же жили-то далече друг от друга. Пока до соседей доберёшься дотопаешь, так и забудешь к маньякам [5] непуганым за каким лядом припёрся в края дальние. Какие уж там войны с захватами.

Не жировали, но и не пухли с голода. Мужики стадам диким, загоны обустранивали да при тех запрудах артелью охотились. Из года в год те загоны суживали, завалы по лесам устраивали, рвы в полях копали змеиные [6] для себя халяву обустранивая. [7] Как не прискорбно признавать, но именно лень человеческая да погоня за дармовой добычей сладостной сделала людей шибко разумными да сообразительными для своего выживания. И то, правду сказать. Чего за зверем съедобным по просторам гоняться немереным коль его изначально загнать можно в нужное место да там потреблять по надобности.

Земля кормила от пуза. Грех жаловаться. А грибы в лесу как пойдут, так ступить некуда. Ягоды ковром сплошным, орехи валом сыплются да диким мёдом баловались, жизнь подслащивая. Артель мясом, рыбой снабжали с дичью всякою. Порой столько набьют что девать некуда. Рыбы в реке, хоть руками вычерпывай. Сколь ни пытайся – всю не выловишь. Про стада загонные вообще помалкиваю. Там ни ловить, ни ходить особо даже не требовалось.

Бабы с детьми жили многодетными семьями в землянках с бревенчатыми стенами катанными, на берегу рек с водой чистой для питья пригодной. По праздникам положенным, мужей встречали-привечали что в гости наведывались. При каждом куте [8] бабьем, огород был немаленький. Почитай на каждое дитё пола женского свой кусок прикапывали, обустранивали грядками рядными да кустами ягодными с деревьями. Вот на тех огородах вскопанных, почитай весь тёплый сезон девки спины и гнули с малолетства самого. То сажали, то пололи, то мух ловили с жуками разными.

В бабняке с работами огородными, дело строго было поставлено, не забалуешь, да и отлынивать не получалось как ни пробовали. Бабы взрослые не давали. За раз мордовали ленивую. Хотя весь приплод рода женского на удивление в теле вырастал добротном да ладно сложенным. Было мужикам на что посмотреть да за что подержаться при случае. Девки с рождения самого растились здоровыми да работающими. Гонялись по хозяйству и в хвост, и в гриву, так что о другом о чём и подумать было некогда. Ибо взрослые бабы по себе знавали-ведали, что коль девка от безделья о чём задумается, почитай там в «мечталках» своих и пропадёт сдуру, толком бабой не вырастая.

Баня при каждом куте имела прикопанная, ибо в те времена давние, баня была делом особенным. Не для помывочных дел предназначена, а для дел оккультных их верой заповедана. [9] А зародилась та вера в Святую Троицу, [10] говорят, ещё со времён древнее древнего, когда Мать Сыра Земля подо льдами Валовыми почивала почитай совсем без просыпа. Учёный люд называет те времена Великое Оледенение. Вот так и жили не тужили речные жители.

Но пришла беда на земли речников горести не знающих. Завелась в степи напасть шибче мора повального. Зверьё завелось невиданное, лютное, всё живое ненавидящее. И повадилась напасть припавшая баймаки речные разорять. Да не просто лиходейство устраивать, а подчистую сносить саму жизнь на корню выкорчёвывая...

2. По праву сильного у бессильного все права в обязанность затолканы...

Словно скалы мхом покрытые, звери странные с шерстью чёрною неслись клином степь вытаптывая. Это нежить [11] чёрная, лиходейская в свой очередной набег направилась. Числом четыре девятки без малого. Издали на вид все одинаковые. Неслись по сухой земле поднимая пыль завесой серым облаком. Но в отличие от облака небесного, это по земле стелилось да ползло в след чудовищам словно хвост расфуфыренный.

Жути зрелищу страшному добавлял гром с грохотом, что шёл от их поступи по земле солнцем высушенной. Грохот каждого по отдельности в гул единый сливался, нагоняя страх на всё живое да мёртвое. Не похож он был на небесный гром, а пробирал до костей своей глухостью. Будто вырывался из мрачных недр земли да глубин мира подземного, заставляя спину холодеть да каждый волосок на теле подскакивать у всех, кто имел эти волосы...

Вкруг костра прогорающего, собрались люди отдыхающие. Все как один, мужики здоровые. Так сказать, артель Нахушинская в полном сборе. Опосля обеда сытного мерно пищу переваривали да жирок на пузе завязывали. Кто сидел, кто в траве валялся мух от себя отпугивая. Мужики с животами полными предгрозовой духотой разморённые негромко о чём-то переговаривались. Атаман их бравый тут же в траве пузо в небо выставил да ковырял в зубах травинкой сорванной. Глядел хмуро в ту сторону откуда тучи чёрные надвигались да сверкали всполохи, запугивая громом дальним раскатистым. Наверняка думал о грозе наползающей, но слабину себе давал, понимая, что времени ещё предостаточно до того, как придётся по шалахам прятаться. О чём атаман конкретно думал тогда? Да, какая разница.

Мужики что вповалку раскинулись не пацаны чай были зелёные. Мясом на теле не обиженные, да и жизнью артельной калённые. Почитай все как один, звероловы искусные. И глаз намётан вроде бы. И нюх не потерял на опасности. Только в этот раз не заладилось. Подвела их чуйка охотничья вместе с ними от пуза обожравшаяся да где-то рядом в траве прикорнувшая. Не почуяли горе-охотники зверя лютого налетевшего стайным клином супротив ветра свежего.

Крики ужаса, вопли страха да отчаяния вперемешку с матом яростным захлебнулись в громовом раскате гула звериного. Налетели твари вихрем нежданно-негаданно да втоптали мужиков в сухую землю пыльную, перемешав остатки человеческие с головешками костра догорающего. Закружились в танце смерти убийцы лютые, смерчем чёрным жизни охотников

в себя всасывая. Кровь по степной траве размазывая да обрывки тел по сторонам разбрасывая, перемешивая всё в кашу единую.

А пыль поднятая, зверем разбушевавшимся, тут же относилась в сторону ветром крепчающим. Вместе с отлетающим пыльным облаком, отлетали и жизни охотников так не вовремя попавших в это место и времечко. Вот так звероловы всю жизнь зверя ловившие, зверем были убиты-растоптаны.

Но кровопийцы лохматые на том не успокоились. Покружив немного на месте, перемалывая трупы с чем не попадая, они вновь в боевой порядок выстроились и клин их безжалостный дальше рванул на грозу нацелившись. Видно не хватило им крови, не насытились, оттого за очередной жертвой направились...

В травяном бурьяне за околлицей, где полынь с крапивой плели заросли с коноплём дикой да вьюнами крепкими, по проторённой дорожке в узкий проход вытоптаный с высоченными травяными стенами, как гусята друг за дружкой ватага [12] пацанов вышагивала, растянувшись длинной цепью на тропе петляющей. Впереди атаман ватажный как должное. В след за ним шли дружки его, ленно палками помахивая, подрубая стебли трав на тропу вылезшие. Эти шли молча, степенно, не утруждаясь разговорами, а вот «мясо» малолетнее следом семенившее, громко о чём-то спорили.

Крики, визг, препинания с «наездами», но до драки не доходило и то дело хорошее. Лишь языками цеплялись друг за дружку, не более. Что делили? Не понятно, но галдели знатно на тонах, как всегда, повышенных, стараясь заорать собеседника.

Отобедав в родных кутах да собравшись на окраине шла ватага сытая в свою берлогу секретную, что оборудовали на холме высоком, считавшимся у народа Горкой Красною. [13]

Но дойти до логова не суждено им было. Пацаны зверя не почуяли, а гром им издаваемый поначалу за раскаты грозовые приняли, что из-за речки натягивало. Даже, когда загрохотало уж совсем отчётливо, обернулись в сторону туч надвигающихся, и всей толпой уставились в черноту неба заречного. Но когда поняли, что шум идёт с другой стороны, было уж поздно куда-либо кидаться.

С высоты холма на них другая чернота нахлынула, мгновенно накрывая пустотой забвенья. Одни малыцы глаза закрыли ладошками с перепуга замерев столбиком, где и были настигнуты. Другие в траву нырнули куропатками. Третьи думали, что, присев на корточки прямо на тропе, спрятались.

Но свора нелюдей не стала их выискивать, а всех подряд перемолола вместе с травяным бурьяном не останавливаясь. Будто вовсе не заметив жизни под собой загубленные. Нежить чёрная рвалась куда-то дальше ни перед чем не останавливаясь. Лишь выскочив на баймак обжитой, зверюги стали притормаживать да расправлять атакующий клин в разные стороны, обхватывая бабье селение словно огромная птица крыльями. И когда крайние прижались к реке да куты бабьи оказались окружёнными, замерла стая страшная, готовая за один присест заглотить людское поселение вместе со всеми его постройками да огородами.

Лишь один вожак не останавливался. Он, стремглав стоптав огороды наружные, своротил да расшвырял тыны загородок низенькие, ворвался на площадь меж землянок накопанных. По пути на развороте у самого берега сбив какую-то вековуху [14] грузную, что сдуру на него от реки выскочила да от удара улетела в воду куклой изломанной.

КрутанулсЯ вожак, развернулсЯ к своей стае передом, что полукольцом весь баймак к реке прижала – не выскочишь, остановился от гона долгого. Но не замер как вкопанный, а продолжил топтаться на месте, нервно похрапывая.

Лишь теперь рассмотреть можно было, что зверь казался большим оттого, что тянул за собой коробку тележную, той же шерстью покрытой чёрною, во что и сам был облачён полностью. Та коробка на двух колёсах больших пристроена, а в ней ехали два зверя поменьше, шибко на людей ряженных, смахивая.

Один из них на землю прыгнул, разминая плечи могучие. С виду бер, [15] но только больно уродливый. Сзади вроде как похож на косолапого, а глянешь в морду – кровушка льдом становится. Вместо нижней челюсти провал бездонный, будто там внутри ночь кромешная. Да в провале том два огонька поблёскивали, напоминая глаза человеческие. Только от глаз тех веяло лютой яростью, ледяным бешенством да читалось в них жажда крови дикая.

Вот чудовище косолапя вразвалочку да держа в одной лапе дубину увесистую, что окоченела была блестящим металлом горя золотом, прошагал к одной из землянок выбранных, да застыл перед входом, прислушиваясь. В баймаке стояла тишина мёртвая. Даже птицы как одна петь не отваживались. Бабы с малыми детьми по кутам забились-попрятались, от чего всё вокруг казалось вымершем. С треском громким сорвал он шкуру с входа узкого да закрывал собою свет белый в проёме единственном, хищно вглядываясь в темноту жилища бабьего.

Поначалу по ушам резанул визг девичий, словно плетью кто стегнул в тишине нетронутой. Визг пронзительный, тонкий да на голоса разные. Только оборвался так же резко, как и начался, перейдя в надрывистый плач деток маленьких, где-то там в глубине норы человеческой. Ревели двое, притом один из них судя по голосу грудничок крохотный.

Чудовище внутрь протиснулось, не обращая на истерику внимание. Там на входе, прямо у ног его, валялась кутырка на подросте [16] уж совсем без чувств да каких-либо жизненных признаков. Чуть поодаль на травяном полу, провалившись в канавку для ног [17] развалилась вторая такая же, только чуть постарше, но в том же состоянии. А в дальнем углу, что за очагом спрятан был, сидела баба на корточках с маской ужаса на лице обезумевшем. Забилась она к стеночке, вминаясь в угол пола сеном стеленного, пытаясь стать для врага невидимой, прижимая к себе двух малых деточек. Один ребёнок стоял на ножках своих крохотных, а вторым, голосившим истошно да залиvisto был действительно грудничок. Его баба на руках прятала.

Уродливый бер вглубь ступил уверенно, через первую кутырку перешагивая, а дойдя до второй стал медленно осматриваться. Та что лежала подле его, уткнулась лицом в солому сидлицную да кажись совсем не дышала, бедная. Валялась словно мёртвая. Зверь тело подхватил безжизненное, на плечо взвалил мешком бесформенным. Встряхнул поклажу поудобней устраивая, да столь же неспешно наружу вышел, унося добычу, облюбованную...

3. Заела бытовуха плесенью, от безделья не знаешь куда кинуться, серость жизни ни мила хоть вешайся? Пойди сдайся в полон ворогу...

Как пришла в себя Зорька от беспамятства, так враз и поняла, что валяется по рукам-ногам пленённая. Локти за спиной за ломаны, босы ноги вязаны травяными путами. И лежит не пойми на чём. Только место больно ровное по ощущениям да густой шкурой беровой устелено.

Шкура жёсткая, словно иглами колется да кем-то у кого руки из зада выросли плохо выделана. Оттого работа его скверная воняла жутко, будто её не в соли, а в отхожем месте вымачивали. Ещё глаза с перепуга не распахивая, она эту шкуру носом учуяла. Не с чем бы ни перепутала зловонность крепкую да за нос прищепкой хватающую, норовящую до нутра достать да то нутро наружу вывернуть.

Где-то рядом совсем говор мужицкий послышался, но негромкий и оттого неразборчивый. Голоса гудели грубые, приглушённые, для её уха незнакомые, да и говорили они странно слова коверкая. Потому девка решила ещё немножечко, рыбой дохлой по прикидываться да глаз вовсе не открывать, кабы не увидеть, чего непотребного. Но при этом прислушалась. Лучше б она этого не делала.

Хотя, чего на девку-то пенять. Ведь не она даже так порешила, а страх её животный непонятно откуда змеюкой выползший да сковавший сознание скудное так решил за девку пугливую, у самой хозяйки на то разрешения не спрашивая. А как только уши наострила, так и за правду чуть со страха не окочурилась. Потому что где-то рядом совсем, почитай прямо над

головой девичьей, с треском жутким да грохотом оглушающим, разорвалась грозовая молния. Зорька аж, лёжа подпрыгнула. И как только умудрилась, горемычная. Вся при этом в клубок съёжилась. Но вместо того чтоб совсем зажмуриться, распахнула зенки свои бешеные, что раскрыться раскрылись, а как смотреть – позабыли напрочь со страха животного.

Лишь когда очухалась да понимать начала во что глаза уставились, сообразила, что везде докуда взгляд дотягивался, видела только шкуру берову, будто была она безразмерная. Лежит, тарашится, глазами ворочает, ничего понять не может, бестолковая, а тут ещё то на чём валялась вдруг дрогнуло да начало вертеться по кругу в сторону. В кружении карусельном её последние мозги жалкие, изнутри по черепу размазывая.

Мужицкий говор разом загудел встревоженно, но о чём гудел, Зорьке разобрать не суждено было. Оттого что на неё кто-то воду начал лить кадками. Только таким образом голову охладив да мозги остудив от горячности, сообразила девонька, что это дождь хлынул как с водопада гремязьего и голоса чужие утонули в шуме воды с неба льющейся.

Капли тяжёлые от души лупцевали пленницу по телу да голове немилостиво, пробивая пышную, но резко вымокшую шевелюру рыжую. Рубаха в раз промокла и прилипла к спине холодом. Только ноги до того времени от чего-то горящие, восприняли прохладу мокрую с облегчением.

Тут накрыло чем-то сверху, будто крышку захлопнули и стало совсем темно, но и лить перестало. Хотя куда уж более. И так была совсем мокрая, да и шкура под ней водой напилась и при малейшем движении чавкала. Лежала словно поросё в луже, только что не хрюкала.

Крышка сверху не только воду небесную перекрыла, но и звуки наружные поубавила. Зорька полежала так, прислушиваясь да осмелев осторожно подняла голову, оглядывая с острасткой западню собственную. Изнутри она оказалась коробкой с бортами высокими со всех сторон шкурами устеленной. Шкуры всё беровы да как девка поняла ни один и ни два на неё зверя были израсходованы.

Только в ногах стенки не было, но разглядеть в пустой дыре что-либо, невозможно было. Ибо стояла там стена сплошная из дождя скошенного, чуть ли не ураганом трёпаного. Да и вообще снаружи было хмуро как-то, да и страшно стало деве молоденькой во всякую чушь сразу поверяющей. А тут, ещё раз где-то рядом сверкнуло да грохнуло и её пристанище в очередной раз закружило в неистовстве.

Зорька пискнула, телом дёрнула да со страха принялась извиваться, выползая к выходу. Только тело затёкшее, не очень-то хозяйку слушалось. А руки так вообще принялись колотиться колючками внутренними. Так всегда бывает коли отлежать поначалу, а затем выпустить. Оттого замерла девонька, пережидая внутренние неприятности.

А что просто так лежать? Тут поневоле ни с того ни с сего задумаешься. Понять где она, что стряслось да кто те мужики неместные, ярица естественно знать не знала, ведать не ведала. Ничего не помнила и спросить не у кого. А последнее что помнила, как опосля обеда стол убирала. Деревянные миски да чашки в кучу складывала.

Вспомнила, как земля задрожала гулко, а откуда-то от землянок соседних, визг послышался да бабьи крики тревожные. Домашние окромя братьев двух, что при ватаге шастали, почитай все в куте сиживали. Тут словно морок [18] к ним в землянку вполз. Всех до одного за душу схватил цепкими лапами, разлив как туман страх да смятение с оцепенением на ужасе замешанное. Даже посикухи несмышлёные притихли в рот воды набрав да за маму [19] ручонками вцепились словно нутром беду предчувствуя.

Затем разом стихло всё, только кони храпели где-то на площади. Зорька тогда ещё подумать успела про тех коней неведомых. Мол, откуда взялись эти звери брыкастые?

Недобрая такая тишина разлилась вокруг, на себя как на живца беду приманивая.

– Пойду, гляну? – прошипела Милёшка шёпотом сдавленным.

То была сестра Зорькина что на два лета [20] её позже уродилась да как раз собиралась на выход с обьедками.

– Цыц, – на неё мама шикнула, как отрезала, а сама в дальний угол за очаг нырнула, посикух с собой утаскивая.

Милёшка застыла у шкуры входной столбом вкопанным, лохань с огрызками выпуская на пол да ухом вперёд вытягиваясь, стараясь уловить звуки наружные. Да так и замерла в позе кверху задом к чему-то прислушиваясь.

– Ой, маменьки, – давя в себе ужас шевелящийся, тихо да плаксиво девка выдохнула, выпрямляясь да прижимая к лицу ладошки, задом попятилась прям на Зорьку у стола раскочившуся, – сюда кто-то топает...

А вот опосля этого Зорьке память как обрезало.

Пока дождь хлестал да ливнем с неба лил пленница валялась на шкуре да мучила тяжёлую голову пытаясь дойти до понимания иль придумать хоть какую захудалую версию для всего вокруг происходящего. Но как ни пыталась разное придумывать, во всех придумках упиралась лишь в одно заключение – это нежить чёрная степная, будь она трижды проклята.

Об этой напасти на род людской давно слухи множились. Налетает мол это отродье нечеловеческое на баймаки мирные, мужиков бьёт подчистую от мала до велика чуть ли не вниз головой в землю втаптывая, а баб с девками куда-то уволакивают в своё логово подземное. Утаскивают с концами да бесследно, словно по воздуху. Никто из тех подземелий ни вертался, ни объявлялся. Потому никому было не ведомо, что там с бабами да девками делают?

Сказывали о том по-разному. Но Зорька до выпученных глаз всем доказывала, что их там съедают живо. Хотя девки про них врили, кто во что горазд, кто дурней придумает, но в бабняке бабы согласны с Зорькой были, вернее она с ними соглашалась от скудности собственной фантазии. Да и по поводу живо съедения картинка у неё пред глазами вставала как настоящая, от чего мурашки табунами по щуплой спине бегали холодом внутренности вымораживая. Опосля как всё это себе представила, в другое уже ни в какую не верила, потому что пугаться пуще этого не получалось как ни пробовала.

Долго ль, коротко ль ливень кончился. Грозовой наскок всегда явление скорое и ярица притихшая, вновь отчётливо различила голоса человеческие. «Нежить молвит человеческим голосом?», – мелькнул в её голове вопрос вкрадчивый, от чего в раз живот противно заболел кишки скручивая да моча наружу запросилась предательски. Еле сдержала, зажимая ноженьки.

Голова шла кругом, дурнота припёрлась невесть откуда, за нутро Зорьку схватила, мразь тошнотворная. Ярица по наитию поняла, что вот-вот простится с сознанием да с перепуга принялась дышать полной грудью да притом с голосом, горлом присвистывая. Извернулась-вывернулась да выставила лицо белое уж без единой кровиночки в дырку свободную, откуда свежесть пробивалась в коробку вонючую.

Только не успела она насладиться свежестью воздуха грозой напоенного. Откуда не возмись перед ней возникла морда страшная, зверя невиданного. Словно бер огромен, только лохмы чёрные. А челюсть нижняя с мясом выдрана. И с той раны кровавой, чернота текла струями, заменяя собой кровь привычную.

Зорька на всё это безобразие глянула. Сглотнула в горле ком с громким бульканьем да опять сбежала от сознания в закрома снов спасительных на прощание издав ни то стон предсмертный, ни то свист улетающей души в пятки мозолистые ...

Приходила она в себя медленно. Сначала Зорька не могла понять никак почему трясут её безостановочно. Ни сильно так потряхивают, как бы ни желая пробудить спящую, но и при этом в покое не оставляя, будто издеваются. Глаза открывать не стала. Побоялась, помня прошлое пробуждение. Но поняла даже через веки сомкнутые, что вокруг светло да благоухает ароматом степного разнотравья.

Наконец к ней вернулся слух, вернее осознание того что слышит звуки разные да по шороху тележных колёс поняла, что везут её в этой коробке будто в телеге нагруженной. Только телега эта больно чудная, на телегу совсем непохожая.

Зорька глаза приоткрыла до щёлок узеньких. Перед лицом была всё та же шкура берова. Поняла, что лежит лицом к стеночке. И тут рядом совсем, прям за спиной собственной, голос мужской кому-то небрежно указывал:

– Чуть правой держи. В обход пойдём меж холмами, низиною.

– Хорошо, атаман, – отозвался другой мужик.

Сердце Зорьки зайцем пуганым, заскакало как сумасшедшее. От чего девка зажмурилась, да попыталась вдавиться телом в подстилку ворсистую. Эта нежить говорила языком человеческим! Никогда ещё Зорька не слышала, как сила потусторонняя меж собой общается. И вообще никто не рассказывал, чтоб нежить вслух разговаривала.

Пацаны сказывали, а они от мужиков артельных слышали, будто говорит нежить не разевая рта. Даже губами не дёргая. А голос, вроде как сам собой звучит, будто нежить в голову залазит да там речи изнутри ведёт. Поразило это ярицу до глубины души девичьей. И ни сколько напугалась, сколь обиделась, поняв, что пацаны и тут её обманывали...

Время шло неспешной поступью. За спиной разговоров больше не было. Трясучка мерная – успокоила. Пленница, пригретая солнцем ласковым, разморилась, да расслабилась. Лёжа на боку да всякого в голове передумав разного, тупо в ворс мохнатый уставилась, шерсть разглядывая да забыв про своё положение улыбалась, грустью светлой объята. Навеяла шкура вонючая на приятные воспоминания – прошлогодние Дни Девичьи, [21] что были в аккурат по осени ...

4. Сколь плодится род людской, столь и спорят меж собой люди «знающие» чего можно молодёжи, чего нельзя пока, да до коих пор это «пока» растянуть надобно, саму молодёжь не спрашивая. Вот и молодняк их не спрашивая берёт да делает...

Ещё загодя Девятка – атаман ватажный со своими товарищами все леса здешние облазили в поисках пчелиных закладок на зиму, грабя бедных мух кусачих без зазрения совести. Пчёлы к времени тому уже на зимовку за конопатились. Оттого вели себя вяло словно сонные. Из ульев не летели, только ползали. Воров не кусали, будто все остались без жальные.

Водил ватагу по сладким местам в лесах запряженных, приставленный к ним мужик артельный, что Коптырём кликали. Главный знаток по медовым делам в артели давно на том промышляющий. Он во всей земле рода Нахушинского, почитай каждую семью пчелиную в «лицо» знал иль, что там у них, вместо лица имеется. Ну не морда же!

Коптырь не только ведал, где эти «мухи» водятся, но и с кого сколько мёда можно взять, не навредив полосатым бестиям. Бабы поговаривали что он как мужик пропащий совсем. Мол, с самой Лесной Девой [22] договором повязанный, а значит для баб здешних, в общем-то, как супружник потерянный.

Был он с виду неказист. Ни ростом не вышел, ни плечами не выдался, да и отросток мужицкий так себе, как знающие бабы сказывали. Ну, в общем, ни одна хозяйка по-хорошему не позарится. А вот как стал для них недоступен, так давай ему кости мыть да помыв, заново перемывать с таким видом, что и прям подумать можно «эх, какого мужика потеряли ценного». Ну вот что бабы за народ. Сама ни ам и другим не дам.

Пацаны по указке Коптыря гребли мёд от души да всегда чуть больше, чем велено. Жадность – она ещё та дрянь пагубная. А как тут не будешь жадным коли знаешь, что мёд на медовуху пойдёт да не для кого-то там, а для себя любимого. Натаскают девкам мёда, те наварят пойла пьяного да совместно его же и приговорят, прям как взрослые.

Гонянье Кумохи [23] праздник был особенный. Целых три дня сплошной пьянки никем не контролируемой, да ещё в бане с голыми девками. Мечта любого мужика нынешнего. Вообще этот праздник один из немногих, когда девки пацанов звали сознательно, не то что на другие куда приходилось вечно с боем прорываться иль хитростью. А тут ещё ко всему прочему на Девичьи Дни никого из баб для присмотра да старшинства из бабняка не ставили. На всех девичьих праздниках за главную снаряжалась «смотрящая» из бабняка, большухой девичьей поставленная, а на эти дни никогда не ставили.

Старшую выбирали девки из своих самостоятельно. Как уж они там это делали? Доходило ль до склок с драками? Пацаны ни знали, ни ведали. Почему на эти три дня пьянки да разврата никакого присмотра не было, пацаны тоже не ведали. Хотя врут. Знали, конечно, но помалкивали.

Когда весь молодняк буквально в шею из баймака выталкивался, ну, окромя посикух, конечно, куда их выгонишь, к бабам мужики артельные с загона наведывались почитай в полном составе во главе с атаманом выбранным. Да не как попало, а каждый мужик ещё на Положении [24] отмеченный шёл к конкретной бабе аль молодухе, что обрюхатил на дни Купальные. [25] В реалии только бабы знали, кто от кого понёс, а мужикам так лишь полоскали мозг обманами. Ещё до Положения меж собой договариваясь, кто кого «своим» звать будет на год следующий, а мужики и рады дураки обманываться.

Бабы особо и не стремились за девками да пацанами в эти дни приглядывать вовсе ни из-за того, что мужик выбранный притащит в её кут вычищенный свой уд вонючий да будет там перед ней им похвалиться во всех его состояниях. По большому счёту мало кто из них мог похвастаться. А ждали бабы этих дней из-за того, что каждый из «бычков» с волосатой грудью нёс подарочек. Да подарочек не простой, а дорогой, особенный.

Для самих мужиков эти подарки были головной болью ежегодною. Именно для этого они на Трикадрук [26] к арийцам хаживали. Именно там искали подарок невиданный, украшение «блестящее». Чтоб от одного вида коего у соседских баб глаза на лоб повылазили, да так там и полопались от завести.

Хотя по правде сказать настроение у беременных к тому времени улучшилось. Мутить прекратило, еда вроде как прежде съедобной сделалась. Да ещё ожидание долгожданного подарочка... Всё это повышало настроение настолько, что откуда-то, мать её, и желание с мужиком потискаться всё же появлялось как себя не обманывай. В общем, подарок подарком, а мужика на три ночи тоже не помешало бы. Какая ни какая ласка. Какая ни какая услада. Пусть вонючего, пусть с огрызком, но своего снизу доверху. Как от такого бабу оторвать да за девками караулить отправить. Да никак. Вот и гулял молодняк эти дни сам по себе. Хотя на самом деле всё не так было просто, как кажется.

Бабы провожая молодняк грузили воз посудой резной из дерева, продуктами огородов да заготовками из припасов на зиму. Артельные мужики снабжали шкурами да мясом, мёдом, пацанами собранным.

Нагрузили два воза доверху что молодняк тащил вручную по слякоти, тягая да толкая их с песнями да прибаутками. Тащили это всё ребятушки на слияние двух рек большой да маленькой, где на песчаной косе из года в год гуляла молодёжь с размахом да каждый раз как в последний раз.

Именно в прошлом году Зорька была девками за большуху избрана. Кутырок-одногодок что навывадане было четверо, но выбрали именно её, потому что была шустрая, шепутная да не раз с пацанами дралась по-настоящему да при том не всегда проигрывала. А в этот праздник именно за пацанами и нужен был глаз да глаз. Их следовало в рамках держать как на привязи, а это у Зорьки лучше всех получалось из круга девичьего.

Погодка правда подвела. Было слякотно, мерзопакостно. Мелкий дождь зарядил моросью. Ветер хоть и не сильно дул, но лез под шкуры да до дрожи выхолаживал. Потому в первую

очередь решили костёр для обогрева запалить, а уж потом приниматься за приготовления к празднику.

Девки стали свои костры складывать, готовить мёд да чем его закусывать. Пацаны на косе откопали от песка да мусора большую «каменюку» плоскую, что на трёх камешках поменьше была устроена. Этот банный камень здесь стоял испокон веков. Просто по весне при половодье его топило, заносило илом да мусором, а яму под ним, где огонь разводили, песком сравнивало. Было необходимо привести его в потребное состояние да развести основной огонь, чтоб начинал греться до каления. А это дело не быстрое.

Затем пацаны таскали жерди с брёвнами из леса местного, где всё это аккуратно было сложено ещё с года прошлого. Опося чего устанавливали большой шалаш над камнем тем, что и был по сути банею. Застилали его лапами ели да ёлки мохнатой. Осина уже облетела полностью, берёза с клёном тоже лист сбрасывали, так что пришлось обходиться лишь игольчатыми. Снаружи всё это сооружение завалили шкурами туровыми да кабаньими, а внутри все пристенки да песок вдоль них шкурами мягкими: заячьими, лисьими, беличьими. На место большухи постелили шкуру бера лохматую. Вот почему Зорька и вспомнила те дни. Наваяла, так сказать, ассоциация.

Командовать особо было не кем, да и не зачем. Песчаная коса напоминала муравейник в разгар дня рабочего, где каждый муравей чётко знал, что ему делать полагается. Девки сами как-то разделились по котлам да вертелам. Никому объяснять ничего не требовалось. Они готовке пищи с малолетства обучены, аж чуть ли не с посикух несмышлёных при кутах маминых, потому всё знали и умели не хуже Зорьки, это дело не хитрое. Она, конечно, прохаживалась туда-сюда по кухне импровизированной, с гордым видом да надменной поступью, но исключительно для значимости себя любимой да собственной важности.

Делала ничего не значащие замечания на что все плевать хотели, но помалкивали. Так же хаживала и по пацанским работам строительным. В отличие от неё их атаман Девятка, как и все трудился в поте лица, а может быть и старательней. Пацаны тоже знали кому что делать и ходить над ними надзором никакого резона не было.

Атаман с кругом ближним занимался обустройством шалаша банного, самой сложной, трудоёмкой работой, ответственной. Ватажное «мясо» таскали из леса берёзовый сушняк поваленный, хотя сушняком его назвать было затруднительно, так как опосля затяжных дождей осенних этот сушняк валяющийся, было хоть выжимай от воды впитанной.

Один из ближников атамана по кличке Моська поставлен был на колку этого «сушняка-мокряка». Дубиной али топором ему лично артелью выделенным, который он, тем не менее, применял редко, так как берёг и буквально трясся над ним, ломал стасканные из леса деревья на мелкие поленья в костёр годные. Для общей бани поленья отбирались особенные. Два пацанёнка следившие за костром таскали мокрые поленья внутрь да на плоский камень сушиться складывали. Другие пацанята с телег шкуры да шкурки таскали. В общем, все были делом заняты.

Как только Зорька на обходе возле Девятки оказывалась, так тот бросал работу, да принимал позу важную, напыщенную, что соответствовала как он считал его положению. И каждый раз между ними случался один и тот же диалог, как правило:

– Ну, как? – вопрошала она, задрав свой носик в надменности да от атамана смотря в сторону.

– Ладно всё, – отвечал он, утирая о штаны руки натруженные, – скоро управимся. А у вас?

– То ж ни чё. Проголодались чё ль?

– А то.

– Потерпите.

И с этими словами не торопясь уходила на круг следующий. Девятка, проводив ухмылкой да взглядом масляным, заинтересованный её задом девичьим вновь брался за работу общую.

Наконец последняя шкура закрепилась как положено. Входной полог погрузил баню праздничную в полумрак и внутри как-то сразу потеплело да запарило.

Малышня пацанская натаскав валежника достаточно от безделья да голода принялась проказничать, пытаясь украдкой что-нибудь стащить съедобного. То там, то сям слышны стали девичьи окрики грозные, гонявшие воришек нерадивых подальше от костров кухонных. К самому большому котлу с мясной кашей пацаны не лазили. Что там делать? Там стащить нечего. Не будешь же из варева голыми руками куски вылавливать. Вертела тоже обходили стороной дальнею. Ни оторвёшь, не укусишь от куска целого.

А вот Милёшке, младшей сестре Зорькиной не повезло по-крупному. Она пекла лепёхи на сале кабаньем. Пеклись они на стенках котла смазанного. Стряпались споро, не успевали вынимать да закладывать, ароматом на всю округу воняя вкушностью. Готовые лепёхи в большую корзину складывала да накрывала волчьей шкурой от дождя да выветривания.

Вот это то и было основным предметом воровства мальчишеского. Девченок, что Берёзкой кликали, лет восьми от роду, напросившаяся Милёшке в помощницы больше занималась охраной продукции да отгоном мелкого ворья примерно её же возраста, что пытались во что бы то ни стало стащить готовую выпечку из корзины неусыпно охраняемой.

Пацаны словно мухи вокруг навоза вертелись, всячески стараясь отвлечь внимание лютого стражника. Кто-то с видом, типа, просто так мимо прохаживал как можно ближе пытаясь пройти с корзиною. Кому-то срочно потребовалось поговорить с кутыркой о чём-то важном не терпящим отложения. Кто-то пробовал даже с тыла по-пластунски заползть. Но отважная охранительница сокровенного всегда была начеку да не подвержена обманному говору. Быстра да глазаста для крадущихся. Её голосок визгливый с разухабистостью бабы матёрой то и дело слышался над общим гулом работающих.

– А ну, кыш, я сказала, шелупонь голозадая, – голосила девка грозным писклявым окриком, – а ну ползи обратно червяк жопный...

Ну, и так далее и тому подобное.

Но похоже это только подзадоривало пацанов голодных да без дела шатающихся, и они всё активнее напирали на Берёзку со всех сторон. Наконец не мудрствуя лукаво, пацаны ухватили голосистую в охапку да оттащили в сторону. Пока трое держали, четвёртый заграбастал лепёх горячих что сверху схватил да припустил в лес бежать, унося награбленное. Девченок визжала будто поросё недорезанная и только опосля того как начала их кусать с остервенением за что не попадая, пацаны, завизжав с ней за компанию бросили «зверюгу бешену». Отбежали, покричали, обозвали, как сумели да со всех ног рванули в лес, где ждала их добыча желанная.

Этот шум привлёк всеобщее внимание, и Зорька как старшая поспешила к его источнику. Милёшка с двумя кутырками, что по соседству кабанчика жарили, катались со смеху до истерики, а Берёзка сидела на песке сыром да громко ревела турицей не до доенной.

– Чё случилось? – принялась пытаться Зорька сестру свою младшую, стараясь при этом как можно строже выглядеть, но у неё это не очень получалось, так как смех девичий будто зараза легко цепляемая, заставлял её, не желая того постепенно расплывалась в улыбочке.

Ничего не добившись от девок постарше, истерикой заходящихся да вповалку валяющихся, держащихся при этом животы сведённые, Зорька подошла к Берёзке рыдающей.

– Чё случилось Берёзка? Ты чё ревьешь белугой недобитою?

Девка, рёв не прекращая, сквозь слёзы проголосила еле разборчиво:

– Они... лепёхи... стырилиииии.

– Она их покусала! – сквозь смех безудержный прорезалась Милёшка на песке валяющаяся.

– Она грызла их да чавкала! – прокричала сквозь истерику ещё одна из валяющихся соседок-девонек.

Последняя фраза сказанная их повергла в очередной припадок хохота, ещё больше животы скручивая.

– Вот же дуры, —фыркнула Зорька, а сама расплылась в ухмылке нескрываемой, и уже обращаясь к Берёзке на песке расслаивающейся грозно повелела зычным голосом, подражая большухе бабняка общего, – а ну-ка, вставай, девонька! Неча на холодном сидеть. Жопу застудишь потом рожать замучишься. Вона садись на корзину со своими лепёхами. И заду тепло и лепёхи из-под тебя не вытащат.

Опосля чего старшая тряхнула её за плечи щуплые, подняла, да развернув лицом к корзине обворованной, легонько подтолкнула девку уж напрочь зарёванную. Инцидент как-то сразу затих сам собой.

Берёзка, забравшись на корзину да размазывая по личику сопли со слезами солёными, злобно посверкивая глазёнками злыми, в раз реветь перестала, лишь озлобилась. Девки тоже от смеха отошли, утерев лица мокрые да руками отмахиваясь, проветривая влажность слёзную, принялись за свои дела привычные. Всё пошло своим чередом как давеча...

А в тёмном лесу промозглом дальше по берегу прячась за лапами ёлки раскидистой, стояла девка с ликом уродливым. Смотрела на всё издали да поскуливала. Лохмотья грязные еле скрывали тело белое, бескровное, изнурительной болезнью высушенное. Сосульки грязных волос лицо прятали, прикрывая глаза впалые да губы раскисшие, язвами разъеденные. Пальцы сухие крючковатые в трясучке болезненной за мокрые метки цеплялись, то и дело спасая больную от падения.

Но, несмотря на своё плачевное состояние она не спешила покидать своего укрытия и выходить к людям на обозрение. Она скрывалась и ждала, будто какого-то знамения...

Наконец всё готово было к празднику. Как по заказу прекратил дождик нудный накрапывать, и даже кое-где пробивалось солнышко. Мутно, блекло, но показывалось. Настроение и так приподнятое, повысилось до своих пределов в ожидании. Оно ведь как бывает. Ни сам праздник радует, сколь его ожидание.

Все расселись на брёвна натасканные да девки принялись кормить работников. А там и сами пристроились, только по привычке в сторонке своею кучкою. Но это было лишь в начале праздника.

Опосля того как атаман ватажный как из пацанов старший с ковшом медовухи в руках поздравил девок с праздником да предложил выпить за каждую назвав всех до одной не простецкой кличкой, [27] а по полному, [28] все дружно встали да выпили.

Ещё закусить не успев, девки завели песнь величественную – восхвалялку [29] Матери Сырой Земле. Песнь невесёлая, но торжественная. Обо всём бабьем племени людей на свет рожаящих. Пока девки пели, пацаны ели.

Опосля второй да третьей среди ватажных, говор пошёл живее. Языки расплелись, легчали да голоса повысились. Шутки, прибаутки, рассказы в виде слухов «проверенных», да и просто выдумок откровенных и не всегда скромных да не при детях сказанных. Девки пацанов нагнали быстренько. Много ли им надо худосочным да не раскормленным.

Зорька, она же по полной Заря Утренняя, пила мало, ела не больше выпитого. Требовалось статус блюсти, следить за правильностью происходящего. Только несмотря на это она всё же упустила одну деталь существенную. Нежданно-негаданно в их коллективе прибавилось. Появилась девчонуха неприметная. Подсела явно под мороком. Оттого на неё невзрачную никто не обратил, внимания, а коли и видели то тут же забывали о её существовании. Она не пила ни ела, а лишь сидела скромницей ликом поникшая.

Когда все поели да разогрев пошёл, Зорька, не стараясь даже переорать гомон, что творился вокруг, просто завела песенки. Эдакие шутейки-прибаутки [30] короткие про злодейку Кумоху ненавистную. А вскоре уж все как один горланили эти прибаутки незамысловатые зна-

комые каждому с детства раннего. Рифмованные и не очень, ругательные да частенько матерные четверостишья складные про «Кумоху – кривожопу, чтоб ей пёрнув улететь».

Наконец Зорька вскочила с бревна звонко выкрикнув:

– Айда Кумоху гонять!

Девки разом завизжали, пацаны свист устроили да с этим гомоном оглушительным все бегом, вприпрыжку через брёвна под ногами перескакивая, кинулись в банный шалаш устраивать праздника продолжение.

Внутри уж было жарко натоплено. Девки с малышнёй своей кучкой в глубине строения устроились. Пацаны по краям у входа «кости бросили», прихватив с собой медовуху с закуской что смогли унести.

Шкуры-куртки сразу скинули. Ватажные лишь по пояс оголились, но штанов снимать не спешили. Так уселись, насупились. Девки разделись до рубаш нижних тоненьких.

Зорька на камень банный семена конопли высыпала загодя запасённые. Те зашипели, запрыгали и от них заklubился пар пахучий вперемешку с дымом берёзовым. Веселушки завели по новой, но уж с танцами вокруг камня нагретого. Девоньки резвились все без исключения в составе полном от мала до велика. Пацаны вокруг них прыгали только маленькие.

Девятка со своими ближниками сидел, где сидел, не дёргался. Хоть и поглядывал нет-нет искоса на девок резвящихся, но старательно делал вид что его это не волнует ни капельки. Что его задача главная напиться с пацанами до визга поросычьего аль до скулёжки собачьей безудержной. Атаман как гуляка опытный на таких праздниках, прекрасно знал, что сейчас начнётся да откровенно этого побаивался. Потому спешил с опьянением, понимая, что это его единственный шанс спасти свою честь с достоинством.

И тут началось как по писаному. С девок последние рубахи слетели, что значительно прибавило им задора да весёлости, будто спали оковы последние с их наглой бесстыжести. Атаман с ближниками разом притихли, потупились, скучковались поближе друг к другу, налили молча, выпили не закусывая.

Это было ещё то испытание. Ну, что казалось в этих воблах особенного. Ни жоп не откормили, ни сисек не вырастили, а ведь как дряни действуют на суровую натуру пацанскую. А они, лет четырнадцати от рождения, без году как мужики артельные, авторитеты их мира пацанского могли сейчас опозориться да при том по полной и на всю жизнь оставшуюся. Мало кто перенёс бесчестья этого. Нормальные пацаны опосля позора руки на себя накладывали, топились да резались. Таковы были устои давешние, законы речных людей незыблемые: баня и до баб желание вещи несовместимые. Возбудиться мужику в бане – позор и вечное осмеяние.

А эти гадины задками шуплыми перед ними виляют-потрясывают, передками своими как ножом по глазам режут, а у старших, щёлки уж волосиками покрываться начали. Тьфу ты Вал [31] их изнасилуй не милостиво. Грудки острые, как прыщи опухшие, смотреть не на что, а от всего этого в штанах нет-нет да позор зашевелится.

Вот и пьют ватажные, заливают zenки честные, чтоб не видеть разврата этого ведущего их молодых да сильных к гибели. И в штанах от того сидят не снимают да не скидывают и ни скачут с голыми дурами. Борются пацаны с соблазном не на жизнь, а на смерть лютую. А в бане и так напарили да от жара внутреннего вообще жизнь нестерпимой стала для пацанов в одежах тёплых рассевшихся. Атаман поднялся, всем видом показывая, мол устал отдыхать да пустыми забавами тешиться. Накинул шкурку на плечи мощные да пошёл неспешно охладиться наружу, подышать свежим воздухом аль ещё по каким делам, не терпящим отлагательства.

Ближники как один гуськом за предводителем следом выскочили. Не успели они отойти от входа в сторону, как полог распахнулся да вся эта шобла развратная голышом в клубах пара мутного, с визгом да улюлюканьем вылетела из бани да рванула в реку студёную охлаждаться да друг в друга брызгаться.

Вышла со всеми и дева неприметная докрасна распаренная с глазами бешеными. Вошла в воду студёную, пала туда пластом будто теряя сознание, да и сгнула в той воде словно растаяла. Никто не обратил на этот инцидент внимания и потерю своих рядах ни заметил за общим сумасшествием.

Беспрестанный визг, смех да ор с плесканием. Вода в мёрзлой реке аж вскипела от такого безобразия. Куда уж там заметить, как какая-то нежить топится. Тут вся эта орава рванула обратно, сверкая жопами. Только кутырки что навыване, все четыре гадины не побежали, а важно так словно на показ мимо пацанов прошествовали. А Зорька, дрянь бесстыжая, мимо проходя свои лохмы рыжие так на плечико небрежно закинула да нежным голоском воркующим, давай Девятку провоцировать:

– Чё атаман, запарился? Так нырни, охладись. Чай не сахарный.

Ну, просто издевается над пацаном авторитетным, охальная. Ну, нельзя же так по живому-то голым станом своим резать мозг пацанский. Но атаман мужик-камень, на авось не взять. Он нашёл что ответить да ответить достойно, как положено:

– Ни чё. Успеет ещё.

Проговорил Девятка важно, многозначительно, смотря не на вихляющую рыжуху бесстыжую, а куда-то за реку.

Она хмыкнула вызывающе да прошла мимо атамана стоящего, да как бы невзначай скользнув по нему бедром голым, скрылась за пологом.

– Вот же сука, – ругнулся кто-то из ближников.

– Спокуха, пацаны, – атаман одёрнул его тоном бывалого да всего на свете навидавшегося, – прорвёмся, не в первой. И ни такие щели видели. И ни на такие жопы поплёвывали.

Все ватажные одобрительно забурчали головами покачивая да плечи расправляя для вида пущего. Кто-то даже смачно сплюнул под ноги.

Охладившись и ещё хлебнув поила пьянящего, что уже не лезло внутрь, потому что было некуда, они вернулись на свои места насиженные, сделав вид что ничего не было.

А девки к тому времени не на шутку распотешились. Толи конопля нанюхались, толи ещё медовухи добавили, толи и той хватило, просто развезло в жаре да в пару уже слабо просматриваемом. Они принялись распевать веселушки похабные да при этом выгибаться да хватать себя за места разные. Каждая норовила выпендриться пред атаманом с ближниками. Тьфу ты, позорище блудливое!

Но атаман ватажный крепился да виду не показывал, что хоть что-нибудь привлекло его внимание. Так, улыбался небрежно их сальным шуточкам, но взгляда на их кривляньях не задерживал. Ближники, поначалу во всём атамана поддерживали, подражая его поведению. Но Неупадеха, один из ближников, пацан уж взрослый по меркам их возраста, первым не выдержал издевательств девичьих.

Красавцем назвать его даже спяну невозможно было. Ростом не вышел. От корешка два вершка. Девки красоту его не могли рассмотреть даже в том состоянии, в котором находились в данное времечко. Лопухий до безобразия. Уши поперёк головы даже сквозь гриву волос торчали мохнатую, что он сознательно расфуфыривал в разные стороны. Морда рябая, глазки рыбы, маленькие, да всё это при носе огромном уродливом. Да и весь он какой-то нескладный был. Больше всего его руки уродовали. При росте маленьком они были длинными чуть ли не до колен висли, с ладонями-лопатами.

И вот при всём при этом, несмотря на недостатки внешности, девкам он нравился. Чем? Да остёр был на язык словно камень точенный, да и умом Троица не обидела. Соображал быстро, изворотливо, благодаря чему ещё с детства забил для себя правило: не хочешь, чтоб над тобой смеялись, смейся над собой в первую очередь.

Но не только слово острое да меткое примечали девки в пацане уродливом. Была у него ещё одна вещь для них интересная. Уд у пацана был в глазах девок длины немереной. Награ-

дила же природа не пожадничала. Ни у одного мужика в артели таких размеров не было. Потому несмотря на всю внешнюю непривлекательность всё же кой-на-чём можно было посмотреть глаза выпучив, и уродец, зная это не раз при девках показами пользовался.

Так вот Неупадюха языкастый не выдержал подначек девичьих. И дойдя до определённой кондиции опьянения соскочил с места насиженного, скинул махом штаны уж развязанные да крутя своим мужским достоинством словно куском змеи где-то пойманной, пустился в пляс, девок тощим задом распахивая да горланя ответную похабщину.

Девки мигом навалились на него будто только и ждали этого. Принялись по очереди ввинчивать ему веселушки по заковыристей, а он так же шустро каждой отвечал не жадничая. То шлёпая их по задам голым распаренным, то пытаясь ущипнуть за прыщи на груди набухшие, то припечатывая удом почему-ни-попада.

От хохота баня шаталась только что не разваливалась. Девки закатывались до слёз с коликами. Каждую уколол, в чём ни попадая вымазал, но при том никого не обидел. Как умудрился? Неведомо. Неупадюха он и есть Неупадюха. Вот за это он и был интересен девкам его знающим.

Зорька захмелев да забыв о своём статусе вертела всем что удавалось напоказ выставить. Голосила матершинщину налево и направо как заправская матёрая. А что с оторвы взять? Такой уж она выросла. Как не прячь сущность, ни маскируй от глаз порядочностью один хрен всё наружу вылезет. Она уж Неупадюхе дала да выдала. Он конечно огрызался, но побаивался с Зорькой палку перегнуть. Оттого осторожничал.

Зорька кутырка была видная, красивая. К ней все пацаны дышали неровно, а то и с придыханием и он из них не был исключением, но все же пару раз в куплетах сальных по её заду выпукло заманчивому хлопнул да не щадя особо, ибо звонко шлёпнулось. Правда она в долгу не осталась да в «ответке» последующей за волосы его так дерганула, что искры из глаз высекала, да и растительность головную кажись, проредила изрядным образом.

Так в бесчинстве всеобщего разгула Зорька даже не заметила, как в их девичьем круге появился сам атаман пьяненький и всё его голожопое окружение. «Бесиво» пошло на новый заход.

Перегревшись, всей толпой с визгом да воплями ныряли в ледяную реку и тут же с ором обезумившим, неслись обратно в пар греться заново. Девчонята с пацанятами, что по моложе были уже давно забились в шкуры вдоль стенок и преспокойненько посапывали, наплевав на ор да визг со смехом оглушительным.

Но, а те, что навыване, Кумоху гоняли до утра до самого. Только тогда выбившись из сил повалились каждый на своё место приготовленное, да одевшись в нижнее, распаренные и взмокшие, раскинулись на шкурах постеленных. Как-то разом все затихли и так же быстро заснули беспробудным сном.

Следующий день проспали до вечера. А потом девки разогрели что не доели давеча, медовуху приняли на закваску вчерашнюю и веселье началось по-новому. На вторую ночь Кумоху не гоняли. Вроде как в первую выгнали. Только б знали о том дети малые, как близка она была к их телам щупленьким, только руку протяни, и зараза прицепится. Но не вынесла Кумоха к себе такого безобразного отношения да утопилась в реке, так и не прилипнув ни к кому из них.

На другую ночь забава была новая. Оттого похабных песен ни орали, голых танцев не выплясывали. Игры банные они затеяли. Да такие заводные, что краснели не только от жара банного. Творили такое что сказать ни описать. Стыдно до непристойности.

И тут задумаешься, а зачем всё это распутство было надобно? Что это, беспредел от бесконтрольности со стороны матерей да общества? Но ведь это было из года в год, из поколения в поколение. И веселушки эти непотребные передавались из уст в уста и играм бесстыжим учились по наследству. Не могло всё это быть за просто так, и не было.

Жили тогда люди коротко. Взрослели рано непогодам нынешним. Умом да опытом приходилось вживаться быстрее чем тело с его потребностями.

Меньше чем через год все эти кутырки навывданы четырнадцати лет от роду, оставленные атаманом артельным в роду собственном на расплод под мужиков лягут уже взрослыми. Эти девки ещё только-только созрели телом для материнства будущего, но внутренней своей сутью заматерели да обабились. А иначе было нельзя. Не сдюжили бы.

Все девичьи праздники периода холодного хоть и выглядели как игрища бесшабашные, но на самом деле имели в себе хоть и подготовительную, но суровую школу жизни давешней, реальной да безжалостной. Все они в той или иной степени учили девок выживать не в очень ласковом сообществе, а порой и просто жестоком в нашем понимании.

Пацанов приучали к жизни во всеобщей агрессии не только их круга общения, но и всего мира окружающего. А вот так проходило половое воспитание. Это не про то как пользования половыми органами, хотя и этому учили, не то что нынешних, а в первую очередь правилам отношения меж полами. Между мужиками да бабами.

Девятке и всем его ближникам также на год следующий, на седмицу Купальную предстоит поход в лес к еби-бабам [32] хаживать да в свои пятнадцать лет отрываться от мамкиной рубахи с подолами. Да со всего маха окунаться в жизнь взрослую, где гладить по головке больше никто не будет. Будут только бить да приговаривать. Там слёз обиды с унижением всех не вы реветь да переглотать водицей солёною.

Вот и ставил молодняк себе прививки заранее этими праздниками бесшабашными, чтоб не убиться, ударившись о жизнь взрослую со всего-то маха в неё плюхнувшись. Надобно было не обижаться, когда обидели. Не унижаться, когда унизили. Ни быть злопамятным, но и не забывать плохого что тебе сделано. Да перед бабами не робеть коль где прижать придётся-представится. Дети речников всегда были сильнее духом, чем физически, а коли силушка не подводила, то это уже были не люди, а камни железные заточенные под жизнь со всеми её закидонами.

Под утро, когда игры на убыль пошли от усталости, где-то рядом совсем волчий вой из леса донёсся пугающий. Притом вой семейный, а не одиночки заблудившегося. Все резвящиеся как один играть бросили да наружу высыпали. В эту ночь не парились, оттого и на реку не бегали, потому и не заметили, что снег повалил, да такой густой, с огромными лохматыми хлопьями.

– Вот и первый снег, – с горечью да тревогой в голосе проговорила Зорька сама себе.

В раз большуха пробудилась в ней выбранная. Вспомнила рыжая о своей ответственности, да о том, что уже почитай взрослая, а на ней детворы куча целая. Задрала девка голову к небу пасмурному да с досадой кому-то попеняла голосом:

– Ну, не мог ты чуток повременить со своими покровами?

Но тут и Девятка вспомнил, что он атаман ватажный, а ни посикуха мамкина. Почуял он себя хоть невеликой, но единственной защитой тех, кто рядом был. Осмотрелся да громко скомандовал:

– Так. Припасы все собрать да стаскать в укрытие. Мелюзга! Все в шалаш забились и носа наружу не кажете.

Но никому ничего объяснять не требовалось даже самым маленьким. Быстро, молча сносили еду, что нашли да в шалаше спрятались. Пацаны изнутри укрепили полог да по очереди стали зверя караулить. Остальные спать попадали.

Волк не только самым злейшим был врагом в те времена далёкие. Волк единственный зверь – людоед по своему предпочтению. Мужика побаивался, коли тот ведёт себя как мужик. Баб взрослых и так, и эдак. Как получится. Кого боялся да не подходил лишь издали приглядывая. Кого не боялся, пусть та хоть из орётся, хоть из машется. Как волк понимал кого бояться из баб стоит, а кого нет одному ему ведомо.

А вот детей волк не боится никогда. Зорька на всю жизнь запомнила слова Данавы – колдуна родового: «Человеческий детёныш для серого – главное лакомство. На детей, коли найдёт, нападает всегда, начиная с самых маленьких. И даже коли будет много вас, то это не остановит, а только порадует».

Зорька знала и то что волчица, глава семьи в этом лесу обитающая, с первым снегом свой приплод последний ставит «на тропу походную». И вся семья волчья: дядьки да тётки, переряжки агрессивные до того времени на краю земель родового логова державшиеся да на днёвки свои морды не совавшие, где она растит своё потомство последнее, объединяются. С первым снегом у волков начинается время походов да рейдов охотничьих. Время кочевой жизни до самых волчьих свадеб, [33] чтоб им провалиться людоедам проклятым.

Знала Зорька и то что эта семья конкретная, невдалеке от артельных загонов жившая, [34] по специализации «козлятники», то есть охотились они на козлов-олений исключительно, но от этого спокойней не становилось на душе у ярицы.

Спала она чутко, просыпаясь постоянно от каждого шороха, но Вал, да будет он вечно сыт да обласкан девами, миновал их карой лютой. Волчья семья повыла, повыла, да и ушла, не показав ушей серых, оставив на этот раз детей в спокойствии.

Днём, пока девки перекус готовили, пацаны шалаш разобрали до мелочи. Стаскали брёвна с жердями обратно в лес, где брали давеча. Шкуры со шкурками на телеги сложили. Все поели, но без распития медоварного, что ещё ночью кончилось. Отдраили котлы закопчённые, «приспособы» поварские, посуду в реке вымыли, загрузили это всё на возы да потащили их обратно в селение. Праздник кончился. Кумоха выгнана. Уставший да опустошённый праздником, ношибко довольный ночами бессонными, возвращался домой молодняк речной ...

5. Кому на роду написано сгореть в синем пламени в воде не утонет, выплывет. Кому суждено утонуть не сгорит, из любого пожара выскользнет. Ну а коли угораздило тебя бабой родиться, вообще бояться нечего. Хрен чем убьёшь живучую...

Вот не задался у Данухи день почитай с самого пробуждения. Да и какое это к маньякам ссаным пробуждение? Коль ни свет ни заря разоралась Воровайка – ручная сорока Данухина, что при её куте приживалкой устроилась. Эту птицу за беспредел да лютость звериную боялся весь баймак пуще самой большухи бабняка Нахушинского. Была она словно сучка злобная. Но в отличие от последней не кусалась, а щипалась болезненно да клевалась исподтишка, абсолютно границ не ведая, в своих бесчинствах необузданных.

Большуха сорочьи выходки прилюдно хаяла неодобрением. Уговорами Воровайку укоряла, кулачищем грозила своим увесистым, но и решительно не пресекала её беспутное поведение, мотивируя это тем, что она, видите ли, тварь природная, а знать без повода ни клонет, ни обсерит мимоходом нечаянно, а раз случилось от неё чего непотребного, то поделом тебе да за дело видимо, наперёд будешь знать.

Так вот эта засеря пернатая ещё до рассвета бойко по полу прыгая, шурша сеном словно боров перекормленный, злобно лаяла как собака спесивая на входную шкуру турову. Вековуха на неё спросонок цыкнула, потом наотмашь бросила, что попало под руку, только чем не помнит, запомнявала. Помнит только, что промазала. А та всё равно не успокаивалась, словно нежить какая в неё вселилась да там буйствует.

Баба, кряхтя, попыталась встать на свои больные ноженьки, но клюка к лежаку приставленная качнулась, да рухнула на ступни опухшие, вдобавок покалечив и без того «ходилки» испорченные. Большуха в ярости громко выругалась, притом матюки подобрала на загляденье аж сомой понравились. Лишь заслышав мат забористый, хозяйки разгневанной, сорока быстрыми скачками до входной шкуры допрыгала, а там юркнула в щель не понять откуда взявшуюся. Вот и лови эту дрянность теперь по всей площади.

В жилище ещё темно было, лишь огни очага мерцали тускло светом малиновым. Веко-вуха всё же встала. В раскоряку до очага до топала грузно с ноги на ногу переваливаясь да при этом руками по сторонам размахивая. Покормила огонь домашний сухими чурками. Подула на угли ласково. От чего Данухина нора просторная осветилась молодым огнём. Он запрыгал язычками пламени из стороны в сторону в отличие от хозяйки своей радостный.

Осмотрелась баба внимательно, выискивая, что могло это крылатое отродье так вы-бесить. Ничего не нашла необычного. Верталась к лежаку травяному, подобрала клюку старую покряхтывая да тяжело, с трудом переставляя ноги пухлые поковыляла вслед за «сорочьим наказанием».

Время было предрассветное, тихое. Весь баймак погрузился в пелену тумана лёгкого, плывшего вдоль реки медленно, от чего мерещилось будто сама земля за рекой плывёт в рав-номерном движении. Огляделась Дануха вокруг, прислушалась. Идиллия была полная, безмя-тежная, ничем не пуганная.

Она глаза прикрыла да воротить начала голову. Сначала справа налево, затем слева направо, проверяя округу колдовским умением. Все бабы ведьмы на белом свете. Кто бы спо-рил с этим утверждением. Только большуха Нахушинская даже среди отродья ведьменного была особенной. Глаза с прищуром открыла в туман на реке всматриваясь. Опять закрыла да резко носом зашмыгала, будто собака угол обнюхивая. Наконец громко хрюкнула, смачно плюнула, глаза открыла да в сердцах злобно выдала:

– Убью, дрянь хвостатую, – да стала шарить взглядом по земле в поисках всех бед винов-ницы, но от сороки уж след простыл, оттого прошипела злобно в тишину туманную грозя кула-ком увесистым, – поймаю, дрянь. Перья повывёртываю. Затолкаю во все дыры, что найду. Особ-ливо в глотку твою мерзкую.

Но сорока на ругань никак не отреагировала, даже не огрызнулась, что до этого случалось обязательно. Растворилась в сумраке будто её и не было.

Воровайка объявилась в полдень, как в поселении отобедали. Скача по площади, что в центре баймака меж бабьих кутов устроена да стрекоча во всю сорочью глотку лужёную под-нимая тревогу нешуточную.

Дануха её услышала, когда по краешку прибрежной воды расхаживая. Босыми ногами поднимая муть мелководную да шепча при этом заговоры на излечение отёкших во все стороны конечностей. А как опознала истеричный ор сожительницы, так встрепелась будто кто под зад пинка поддал.

С силой глаза зажмурила, переключаясь на колдовской режим восприятия. Дёрнула голо-вой как от удара в лоб, глаза распахивая. Пошатнулась от головокружения. Повертелась в поис-ках клюки, что была в песок воткнута у самой кромки воды в двух шагах да схватив подмогу ручную для хождения на пригорок кинулась, валом отделявший реку от поселения.

Подъём был в общем-то не крут, но больной на ноги, показался чуть ли не стеной отвес-ной, скалой обрывистой. Спускалась да поднималась Дануха чуть дальше по берегу, где подъём был пологим, да ещё и тропа наискось, но теперь обходить было некогда, оттого напрямик ломанулась без разбора особого.

Предчувствие гибели неминуемой кротчайшим путём гнало бабу под зад, на карачках бугор штурмующую. Одной рукой на клюку опираясь, другой за траву ухватываясь. Оттого даже заслышав грохот неведомый, почитай перед самым носом где-то рядышком, Дануха ничего разглядеть была не в состоянии. Потому что выползала на холм чуть ли не кверху зад-ницей, а там у неё глаз не было. Лишь одолев подъём, запыхавшись до присвиста, смогла кое-как разогнуться в спине и первое что увидела, заставило её бедную вообще забыть о дыхании, будто подавилась увиденным.

На неё неслось огромное страшилище издающее тяжёлый топот с грохотом, от чего даже Мать Земля в испуге дрожью пошла. Чудище налетело на Дануху да в одно мгновение погло-

тило в безмерную пустоту чёрную, где повисла баба в паутине липкой намертво. Почему в паутине именно? Большуха не задавалась такими вопросами, чай по возрасту уже не любопытная. Баба просто поняла, что попала в путаницу паучью, размера необъятного. Вот и всё объяснение.

Помнила также, как во что бы то ни стало пыталась отклеиться от этих липких сетей. Но те хоть и поддавались накоротке, держали крепко, не вырваться.

А затем большуха увидела себя в пустоте мрака крошечного, но от чего-то точно знала, что стоит на пороге кута собственного. Перед ней в черноте склонив голову, в той же пустоте Тихая Вода сгорбилась, одна из двух прошлогодних невестушек.

Данухин сын – родовой атаман Нахуша купил их в прошлом году в каком-то дальнем баймаке большухе не ведомом. Особых нареканий на молодых не было, а на эту тем более. Забеременела как положено. Под сыном не брыкалась, зубы не скалила. Приняла его с почтением. Нормально выносила, родила, словно не первородка, а баба рожавшая. Вот уж год поскрёбыша выкармливает. Хорошенький растёт ребёночек, ничего не скажешь, здоровенький. Не плохой бабой станет, послушной да покладистой. Подумала тогда Дануха про неё принимая из рук невесты ярко-красное яйцо разрисованное.

И тут же на ощупь почуяла какую-то странность, неправильность. Пригляделась. Ба! Эка безделушка затейливая. Дануха хоть и числилась вековухой, но на глаза не жаловалась. Зубов вот было мало, что да то да, а глаза на место вставлены. И острые, и зоркие, как по молодости. Потому много труда не составило ей разглядеть на яйце подарочном тонкую ажурную сеточку. А как покрутила в пальцах да рассмотрела подарочек, поняла, что на яйцо обычное искусно паутинка приклеена. Да так ладно, что ни разрыва не видать, ни стыка. Всё ровненько.

– Лепо, – похвалила её баба главная, продолжая поделку разглядывать, – кто эт тебя науськал до этого?

– Сама, Матерь рода, – елеиным голоском мягко стелящим ответствовала невестушка, – правда не с первого раза получилось, но я упорная.

– Глянь-ка на неё. Сама она. Ну, чё ж, упорная, ступай на Моргоски. [35] Приглашаю тебя, – отвечала ей большуха на подарок затейливый да при этом кивнула слегка, намекая наподобие поклона снисходительного.

– Благодарствую тебе, Матерь рода, – буквально пропела Вода Тихая, резво кланяясь низко в пояс до земли рукой как полагается.

«Подмазала, как подлизала», – подумала тогда про неё Дануха грозная расплываясь в хищной улыбке людоеда голодного, ничего молодой в будущем не предвещая хорошего, да опять поклон изобразила лишь наклоном головы еле видимым. Тут невестка испарилась будто не было...

Вот Дануха уж сидит во главе стола праздного прямо на поляне накрытого да всё вертит в пальцах яйцо подарочное, а вокруг в безмолвии будто весь бабняк её в полном составе трапезничает. Справа увидела Сладкую, подругу свою ближнюю, что без зазрения совести всё ела да ела. Жрала да жрала руками обеими. «Скоро лопнет», – Дануха подумала, абсолютно беззлобно сей факт констатируя, – «и куда это всё внутри складывает? Наверно в жопу свою безразмерную».

Тут у Данухи от чего-то по всему телу широкому мурашки табуном забегали и большухе вроде бы как стало холодно. Оглядела она поляну взглядом увесистым да на краю трёх просительниц в бабняк заприметила, что на коленях замерли, ожидая её решения. Позвала для начала Сирень Раскидистую. Молодуха была из своих, доморощенных. Ей, как и двум невестам купленным, предстояло пройти проверку последнюю для посвящения из молодых бесправных в бабы законные.

Пройти это испытание плёвое на «бабье право» желанное было с одной стороны проще репы пареной, а с другой порой и вовсе неисполнимое. Хоть в лепёшку расшибись не полу-

чится. Задание-то с виду простенькое. Большуха каждой молодой по очереди вручала посудину деревянную почерневшую от времени. Что-то вроде миски глубокой из цельного куска вырезанной да отправляла на родник просительницу принести ключевой воды. Ей видите ли пить хочется. Та бежала к источнику, воду в миску зачерпывала да большухе доставляла с превеликим почтением. Вот и всё испытание.

Но коли было бы так просто как сказано то молодыхи бы не топились опосля этого, а такое случалось порой. Хотя редко да метко. До смерти. Во-первых, родник не простой, а самый что не наесть «змеиный», особенный. Охраной ему была гадюка белая. Не знаю сколь живёт обычная тварь ползучая, но эта пережила уж не одно людское поколение. Ни одну большуху видывала да не одного человека на тот свет спровадила. По какому принципу гадюка людей отбирала точно никому не ведомо, но местные верили, что худого не подпустит к роднику священному. Либо ещё на подходе пугнёт, либо укусит, когда тот пьёт о беде не думая.

Во-вторых, родник для чужого хоть и был с виду обычным источником, но только не для бабняка Нахушинского да тем более для большухи его секретами ведающей. С этой водой, что приносили молодыхи Дануха делала три вещи на вид странные. Поначалу нюхала. Хотя вода эта хоть занюхайся, не пахла ничем. Обычная, кристально чистая, родниковая. Потом щупала её своими пальцами толстыми, растирая сырость между большим да указательным. Будто выискивая там попавшие песчинки иль мусор какой, иль на жирность да скользкость проверку устраивала. И в конце концов её на вкус пробовала да притом не с миски пила, а все те же мокрые пальцы облизывала.

Итогом трёх простых, но непонятных деяний ведьменных, считался приговор непререкаемый, что бывал только двух разновидностей. Первый и для молодых желанный: «тебя водица приняла в бабняк», опосля чего хватала молодуху, на коленях пред ней стоящую, за косу плетёную да кремниевой пластиной острой без всякого зазрения совести буквально отпиливала красоту девичью, укорачивая волос по плечи самые. Вот и всё. Нет больше косы девонька. Вставай с колен баба новоиспечённая да садись за стол и со всеми вместе пропивать утраченную молодость.

Второй вариант приговора большухинского для любой молодой был как серпом... ну, не ведаю я по какому там месту девкам серпом надобно, чтоб было побольней да обиднее. Большуха говорила те слова ласково, беззлобно, как дитя малому: «Иди ка ты девка погуляй годок, а на другие Моргоски неси подарочки. Глядишь и пригласим, коль не скурвимся».

Такое зачастую молодуха слышала и год, и два, и три, и детей не одного успевала нарожать, а всё в невестах бесправных да молодухах хаживала, а право бабье так и не получала из года в год. Хотя, как говорилось ранее такое бывало большой редкостью, чтоб родовой источник змеей охраняемый девку наотрез принимать отказывался. Вот по этой причине кой у кого нервишки и не выдерживали.

Именно поэтому молодыхи все как одна, что невестились при баймаке Нахушинском к этому источнику как на работу хаживали. Чуть ли не каждый день тропу натаптывали. И кормили то они его яствами. И поили то они его кто во что горазд. А какие беседы с ним вели, да сколько слёз солёных утопили в нём вообще не счесть. Никому не ведомо...

Тут сознание Данухи скакнуло в сторону, и она уже увидела себя как бы на пьянке в разгар праздника. По ощущениям даже опьянела чуток, но странные дела творились в мире том неведомом. Чем больше пила пива пьяного, тем больше мёрзла от непонятного холода...

Очухалась она в первый раз в реке плавая кверху пузом надувшимся. Уткнувшись головой в камыши прибрежные, колыхаясь в мелководье телом грузным перекормленным. Озноб колотил трясучкой крупною. Зубы последние друг дружку добивали безжалостно. И тут светлая мысль вдруг мелькнула в голове болезненной: «Хорошо, что во мне говна много, а то б утопла к едреней матери».

Но то была единственная мысль незатуманенная, а все остальные осознавались не то кошмарным мусором, не то кошмаром мусорным. С разбега и не разберёшь такие тонкости. Вот будто спишь и сны один на другой карабкаются, с кондачка наскакивают, а какая-то сволочь тебя постоянно будит да никак не добудится. И уснуть не можешь толком, чтоб один сон посмотреть, как положено, потому что тормозят, сбивая концентрацию и проснуться не можешь потому что эта сволочь тебя не «дотормашивает».

Она хотела было отмахнуться от этой дряни назойливой, что будит еле-еле. Врезать ей промеж разлёта бровного, чтоб те вообще разлетелись в разные стороны. Дёрнула рукой и... проснулась окончательно.

Резануло от локтя до кисти так, что аж искры с того света увидала. Разлепила зенки заплывшие, а в них всё вертится, плывёт, качается. Да хорошо так укачивает, аж рвать тянет немилостиво. Поняла, что в реке плавает да что на берег надо бы. Уразумела что нужно бы зад утопить, чтоб о дно упереться ножками, а тот не тонет ни в какую хоть ты тресни сволочь жирная.

И так она топила этот «шар спасательный» и сяк под воду толкала да куда там, ничего не получается. Не тонет «говнохранилище» и ни чего ты с ним не сделаешь. Потом толи Дануха сообразила, толи туловище и без неё справилось, толи случайно получилось, но нащупала она дно не двумя ногами, как старалась по первому, а одной и только зацепившись за траву подводную, смогла наконец утопить задницу безразмерную да почувствовать под ногами опору долгожданную.

Встать не встала, да она и ни пробовала. Лишь ногами перебирая еле-еле, цепляясь за траву водную, отталкиваясь от дна песчаного она проталкивала своё туловище сквозь камыш к берегу. Но лишь спина на песок тёплый выползла, задница опять протест затеяла. Застряла она и Данухе, как баба не корячилась вытолкать седалище округлое на сушу не удалось никакими стараниями.

Ноги буксовали в песке речном, канавы выкапывая, а эта хрень упёрлась и из воды вылезать наотрез отказывалась, хоть на самом деле отчекрыживай да выбрасывай. Тут Дануха поняла, что устала, притомилась бабонька. Только глаза закрыла да почуяла тепло песка нагретого широченной спиной во все стороны, особенно по бокам куда пузо расплющилось, тут же заново провалилась сознанием во тьму кромешную...

Вновь сидит на Моргосках за поляной накрытою, да в очередной раз посылает молодух на родник. Лишь на этот раз пихает в бок Сладкую, что всё жрёт без перерыва да продыху.

– Хватит жрать, жопа безразмерная, айда-ка разомнись, повесели народ. Глянь за девкой. Да смотри не переусердствуй мне!

– Да ты ж меня знаешь, подруга лепшая, – обиженная на неправомерный наезд большухи пробурчала баба со ртом набитым, непонятно чего-то не пережёванного.

– Да я-то тебя знаю, подруга лепшая, – ехидно Дануха её передразнивала, – коль Сладкая в лес по грибы пошла, так «звиздец» настал и зайцам, и «охотничкам».

Бабы пьяно загалдели, добавляя хмельных реплик по этому поводу да снабжая слова свои комментариями с картинками. Сладкая на всё это никак не отреагировала будто и не слышала, потому что ей было некогда. Жевала она с усердием, а это было для неё куда важнее. Поначалу хотела было выплюнуть на стол, то что зубами перемалывала, но тут замерла задумавшись, прикинула что-то в уме жиром пропитанным, да и проглотила натужно до конца не дожжёванное. Жалко видать стало выплёвывать.

Кряхтя да громко поминая зайцев с охотниками неласковыми словами заковыристыми сначала взгромоздилась на карачки иль на пузо устроилась. Не понятна со стороны была эта поза ей принятая. Отдышалась да рывком землю от себя отталкивая поднялась на колени могучие. Вот. Полдела сделано. Потянулась поочередно руками обеими, поправила мешки с грудами на пузо сложенными. Вот одна нога упёрлась в землю твёрдую. Рывок со взмахом рук

обеих словно птица крыльями... и вот она во всей красе. Поднялась превосходно, легко, аки пушинка лебязья, даже поляна не дрогнула. И пошла, разбрасывая тумбы ног в стороны да залихватски себе по тому месту почёсывая, где должна была быть шея лебединая, но, где уж давно никакой не было.

Сладкая, дело своё знала с лёгкостью. Не одну зассыху подкосила на этом поприще. Как девка бежит да скачет до источника, ей плевать было с высокого дерева. Как и о чём она там с ним разговаривает, ей было тем же концом в то же место налаженное, а вот на обратном пути с миской полною молодуха не имела права на звук ни из какого отверстия. Ибо вода должна быть принесена «тихая».

Бабы, для пригляда посланные вместо того, чтоб следить за тихостью приношения, изгались над бедными девками как сучки последние, прости их Троица. А под кожу залезть да нагадить туда, да в придачу ещё харкнуть смачно в душу чистую, при этом всю дорогу ей мозг поклёвывая это ж каждая баба умела с самого рождения. Самой Матерью Сырой Землёй в неё эта способность заложена. А тут такой случай представился. Ну ведь грех не воспользоваться.

Единственный «недочёт» в устое был. Дозволялось всё, но только без рукоприкладства недозволительного. Сладкую запрет этот всегда доводил до нервного почёсывания всех мест телесных докуда ручищи дотягивались. Притом не только бить, касаться нельзя было. Да что касаться, наотмашь руки подступаться ближе запрещалось категорически. Тьфу! Как это бесило Сладкую! Хотя она баба тёртая и одним языком да словесным нахрапом могла ухайдакать так, что мало не покажется.

Вот молодуха до источника сбегала, на коленках лбом оземь постукалась, чашку зачерпнула доверху да семенит дорогой обратно стараясь воды не пролить ни капельки. Сладкая не спеша на встречу вышагивала. А куда торопиться тяжеловесу эдакому? Чай не от неё бежит, а на неё торопиться. Где столкнутся там и начнёт издевательство.

Не ходила от поляны с бабами далеко ещё и по потому разумению, что для представления ей задуманного зритель нужен был благодарный да понимающий. А без зрителя шут – рукоблудник-баламут, в чём баба была абсолютно уверена. Только Сладкая отродясь таким пороком не страдала. Нет, пороков в ней хоть отбавляй было, больше чем живого веса собственного, вот только таким, точно не страдала бабонька.

– Дай сюды! – рывкнула ближница во всю глотку лужёную, семенящей к ней молодухе зашуганной.

Ну, а дальше началось как положено. Со всеми вывихами да завихреньями. Обозвав по-разному такой-сякой и прочее да такими словечками обидными, что молодуха отродясь не слышала, начинала награждать её эпитетами один краше другого, один другого непристойнее. Девка от ора неожиданного каждой частью тела вздрогнула по отдельности. Пролила воду на руки. Перепугалась до смерти округлив глазёнки в животном ужасе, да хотела было рот открыть, но спохватилась вовремя. Насупилась, уткнулась в миску злобным взглядом мстительным да просеменила не останавливаясь, мимо глыбы жира разъярённого.

– Стоять! – взревела ближница из-за спины девичьей истеричным воплем оглушающим.

Далее посыпались новые обвинения, мол такую важную да грозную какая-то девка мелко сложенная да дурно пахнущая отходами прокисшими, её игнорирует! Молодуха только вздрогнула лишний раз от окрика, но услышав впереди смех залиvistый всего бабняка Данухинского, потопталась пару шагов в нерешительности, а затем сооротив на губах ухмылку злобную зашагала к бабняку быстрее прежнего.

– Да я тебя... – продолжала визжать в раж вошедшая баба жирная, матом [36] кружевным да забористым, уже не поспевая за шагом быстрым молодки резкой да сноровистой.

Дальше Сладкая принялась описывать действия, что непременно проделает с этой не послушницей при том все действия обещанные, почему-то были сексуального характера с при-

менением колов заточенных да брёвен берёзовых. Непременно что-то ей порвать обещала да при том не в одном месте, а во множестве.

И тут Сладкая не выдержала взрыва таланта собственного, да сама подключилась к веселью общему, со слезами падая на четвереньки пузом об землю стучаясь, визжа при этом да хрюкая, как свинья зажавшаяся.

У молодухи испытуемой чуть «хмык» через нос не выскочил, и она просто чудом удержалась, чтоб не издать этого звука мерзкого. Девка тут же до крови закусила губу нижнюю. Боль не дала заразиться весельем безудержным да буквально бегом донесла миску Данухе, что в истерике покатывалась. Та, как и все на испытуемую не смотрела, а заливалась слезами над представлением дурашливым.

Ну, а Сладкая уже сама так билась в припадке веселья неуёмного, что даже стоя на карачках ползти уж была не в состоянии...

Дануха вновь очнулась от наваждения, но уже с улыбкой на губах почему-то высушенных, хотя половинкой тела до сих пор в воде плавала. А только что заразный хохот бабий залиvistый сам по себе перетёк в сорочье воркование, где-то совсем рядом у уха правого. Она повернула болезную голову да всё также лыбясь дурую скрипуче из себя выдавила:

– Воровайка, дрянь эдакая...

Сорока встрепенулась враз, по песку запрыгала, запричитала, затрещала, меняя звуки безостановочно. Птица радовалась как дитя малое.

Дануха оперлась на локоть, преодолевая боль в руке покалеченной, да с огромным трудом села на пузо наваливаясь. Опять расцвела в улыбке беззубой вспоминая дуру Сладкую, да принялась корячиться, как и та на поляне примерещившейся.

Сперва на колени, а затем и на ноги. Только сначала у неё не получалось как ни тужилась. Голова болела будто вонзил в неё кто-то вичку заточенную. Опосля закружилось всё перед глазами не понять: где низ, где верх, где какие стороны да рвать бабу начало будто чего съела непотребного. До мути в глазах выполаскивало. Куда плевала уж себя не контролировала. Оттого у хряпалась баба сверху донизу. Утереться не смогла, руки не слушались. Только стало полегче значительно, видать вышла желчь в голову вдарившая. А как отдышалась да пришла в себя окончательно, кое-как удалось ей встать на ноги. Расставив широко «ходилки» в стороны да качаясь поплававком на воде с волнами мерными, она сжала три зуба оставшихся да прорычала матерно, что-то вроде себе стоять приказывая.

По «мотылявшись» так время недолгое Дануха первый шаг сделала. Затем ещё, и ещё и так далее. Каждый шагочок маленький отзывался ударом колющим, в голове да руках болезненных безжизненными плетью повисшими. Одна лишь мысль сверлила отупевшее сознание: «Идти надобно». Не думала куда идти, зачем, но только знала уверенно, что непременно куда-то надобно.

Прошагала вдоль бугра, что от буйства реки баймак огораживает, куда взбиралась давеча штурмуя по тревоги сорочьей его кручу неподъёмную. Только дальше прошла до подъёма пологого, где сподручней было карабкаться. Шла в ту сторону скорей по привычке обыденной, чем осознано.

Забралась наверх да замерла при виде картины увиденной. Так обмерев она долго стояла ветерком качаемая. Стояла да плакала. Дануха почитай до этого дня думала, что уж вовсе разучилась творить это безобразие. Ан нет, оказывается.

Баймака больше не было. Головёшки чёрные прогоревшие чадили в небо дым белёсый на месте кута каждого. Все до одной землянки сожжены были да разрушены.

Воровайка и та заткнулась на плече у неё посиживая. Только время от времени головой вертела бестолковой из стороны в сторону, наклоня то направо её, то налево закладывая. Будто не веря в то что одним глазом видела, перепроверяла другим. Но тут же, не соглашаясь с увиденным, начинала процесс заново.

Наконец вековуха вздохнула горестно с надрывами всхлипывая. Подобралась, выпрямилась перестав как-то резко слёзы лить горькие.

– Чё эт я? – вопрошала она не пойми кого да к сороке своей поворачиваясь, добавляя убитым голосом, – слышь ты, дрянь пархатая. Меня вроде как исток кликает. Чуешь ли?

На что птица наклонилась глубокомысленно, заглядывая бабе в лицо с видом как бы спрашивая: «а не сбрендил ли ты, хозяйюшка?» да звонко клювом щёлкнула чуть нос не прищемив Данухе, перед ней маячивший. Баба на инстинкте головой дёрнула, боль опять по лбу ударила с искрами. От чего большуха обозлённая сквозь три зуба шипя, сплюнула:

– Тьфу, тупая. Чё с тобою балакать бестолковая? Айда, давай.

Развернувшись, да тяжело ногами двигая пошагала к источнику змеиную.

Хоть недалеко был родник, только больно долго до него добиралась парочка. Путь-дорога показалась длинной. Толи она действительно плелась как улитка обожравшаяся, толи время в самом деле было к вечеру, а она не заметила, но до родника добралась, когда уж смеркаться начало. Дануха ведь понятия не имела сколь в реке проплавала да провалилась на песочке тёпленьком. Но куты, дотла выгоревшие говорили, что времени прошло значительно.

Упав на колени перед лужей как слеза прозрачно, откуда ручей утекал да в высокой траве прятался, баба вымерила взглядом расстояние нужное, а затем повалившись с живота на огромные груди мягкие больно ударившись культиками рук своих о землю голую, нырнула с размаха лицом пылающим, в воду родника холодного, чуть ли не целиком головой под воду скрываясь да лужу разбрызгивая.

Запрокинулась назад, широко раскрыв рот беззубый да воздух схватывая, а затем уж медленно припав лишь губами пылающими, принялась пить с жадностью до ломоты не только в трёх зубах оставшихся, но и во всей челюсти. Вновь отпрянула мокрых глаз не распахивая, отдышалась чуток да опять принялась упиваться будто впрок её в себя вливая на долгие дни последующие.

Наконец ломота от холода нестерпимой сделалась и Дануха вынырнула окончательно. Одна из её кос седых расплелась да по воде разбросалась в стороны. Только теперь поняла баба пластом лежащая, что положение её было хуже не придумаешь. Встать-то она из него не могла никоим образом, а извернуться страх не давал за руки переломанные, что валялись плетью вдоль туловища. Дануха на бок повернула голову. Так удерживать её на весу было легче, да в таком положении и замерла «отпыхиваясь», саму себя успокаивая:

– Вот чуток передохну. Соберусь да сяду на задницу.

Но только веки прикрыла для отдыха, как совсем рядом почуяла силу немереную за версту колдовством пропахшую. Сила та была столь огромною, что её обладателем могла быть только нежить природная, почитай с ближнего круга самой Троицы. Баба резко глаза распахнула да дышать перестала прислушиваясь.

Тут Дануха собралась с силами последними, да стараясь не подмять под себя руку сломанную, для чего изогнулась, как смогла изворачиваясь, крутанулась, но не получилось без боли движение. Она вскрикнула. В глазах потемнело, но на этот раз лишь на мгновение. Подывая прискорбно матерно она глаза открыла медленно. Прямо над ней чуть в наклоне, как бы со стороны заглядывая восседала в луже Дева Водная. [37]

Не молодая нежить, но и не вековуха древняя. Дануха аж дух перевела, воздав хвалу Троице, что не матёрая Черта за ней явилась с бездонным глазом своим чёрным, а лишь Водяница, вся прозрачная из воды сотканная. Волос её цвета травы спелой от палящего солнца в тени выращенной шевелился да путался сам с собой, живя в отрыве от своей хозяйки могущественной. Лик Девы был не то серьёзным до безобразия, не то спокойным словно гладь водная, Дануха сразу не поняла, ни задумалась.

– Я уж думала ты не придёшь, – начала нежить грудным голосом, приятным для слуха и сознания, что при её губах сомкнутых, в голове у бабы зазвучал переливами да, когда речь вела, то по телу её водному пробегала рябь в унисон словам сказанным.

– Будь здрава, Дева – вод хозяйюшка, – поприветствовала её Дануха с почтением, валяясь на спине да кося ко лбу глаза прищуренные, ибо дело это было до ломоты болезненное. Наконец бросила она нежить разглядывать. Терпеть уж боль больше мочи не было, да закрыв глаза расслабилась.

– Прихворнула я маленько, Святая Водяница. Ручки сломаны – не упрёшься. Ножки больны – не побегаешь. Башка дырява, то и дело спать просится.

– Это не беда, Дануха. Это дело поправимое.

– Да будь уж добра, Дева дивная, – устало, будто собралась помирать на её глазах, еле шевеля губами начала Дануха попрошайничать, но Водяница и без её причитаний уже начала своё действие волшебное.

Одной рукой нежить коснулась лба большухи и бабе почудилось, будто ледяная сосулька проросла от её прикосновения куда-то прямо внутрь головы раскалывающейся да там замерла, заморозив заодно все мозги её с мыслями жалкими, и обездвижив тело полностью, сделав словно вовсе не своим. Ни чему совсем нечувствительным.

Затем Водяница её по голове погладила, но уже другой рукой ото лба к затылку оледеневшему. Будто тёплая вода подогретая, от руки её колдовской через кожу, сквозь череп в голову просачивалась, растекаясь внутри да сосульку растапливая. В мозгах прояснилось, полегчало в раз, наступило спокойствие безмятежное.

Так же поступила Дева с культяпками переломанными. Сначала одной рукой их заморозила, от чего Дануха как-то сразу перестала их чувствовать, а затем другой оживала да оттаяла, приводя их к привычному состоянию.

Большуха лёжа на спине головой край лужи захватывая, подняла к глазам обе руки «новые», сжала пальцы в кулаки, разжала опробовав, и так как с ней больше ничего Водяница не делала, то слова благодарности сказывала:

– Благодарствую тебе, Святая Дева Водная.

Дануха уже без боли повернулась да встала пред родником на колени голые, задрав подол да подоткнув его меж ляжек, друг от друга уж давно не раздвигаемых.

Прямо пред ней по центру ванночки родниковой восседала баба её роста, как бы вытекая вверх из воды сделанная. Водяница улыбалась, с удовольствием свою работу разглядывая.

– А с ножками как же, Хозяйюшка Вод Святых? Замучалась я с ними, – начала канючить Дануха с детской непосредственностью, – никакого с ними слада нет с окаянными. Совсем меня толстые не слушаются.

– А что с ножками? – игриво вопрошала Дева, как дитю малому подыгрывая да при этом чуть наклоняя голову, – ножки у тебя как ножки. Ни сломаны в костях, не переломаны.

– Так, Святость ты моя благоверная, ходить то они болезные не могут совсем.

– Они ни ходить не могут, Дануха, а таскать твою тушу замучились. Ничего. Скоро жирок подьешь да запрыгаешь как козочка.

Но при этом всё ж живой рукой намочила ноги страдальцы, и та с облегчением почуяла и силу в ляжках, и напруг в ягодицах.

– Век в долгу буду не забуду милость твою, Водяница.

Дева колдовская улыбаться перестала в раз. Чесанула пальцами волосы зелёные с одной стороны, затем и с другой пригладила да уж на полном серьёзе с неким укором в голосе, как Данухе показалось-пригрезилось, проговорила холодно:

– Ты на век-то баба не рассчитывай. Не дано тебе. А что долг на себя берёшь, любо-дорого. Только за тобой должок был ещё и до этого. А за «теперь» почитай в двойне спрошу.

Дануха глазки округлила будто девка несмышлёная прикидываясь дурой полною. Потому что эта часть беседы ей откровенно начинала не нравиться, а Дева тем временем прикрыв очи с кристаллами водяными да подняв горделиво прозрачную голову принимая вид торжественный, принялась изрекать наставления:

– Река течёт, вода меняется, а за тобой Дануха долги водятся. У речной жизни старой, русло высохло. Степь пожаром охвачена. Человечьими телами устилается. Всё сгорит. Опустеют речные земли исконные. И тебе со своим семенем надлежит родить жизнь новую. Только не так как давеча. Тому что было не бывать более. Соберёшь да засеешь новое. Все, кто к тебе пристанет – твоим сделается. Забудь, что знала о жизни бабняцкой. Но не забывай, что тебе как бабе дано от Троицы. Породишь три закона простых да понятных всем, но их нарушившие жить не должны никоим образом. На том сама стоять будешь да семья строить в узде железной да без жалости. Нет больше родства крови, есть родство законы твои принявших. Пусть не коснуться они веры, но устоям прежней жизни не бывать до века вечного. Отречёшься от всего. По-человечьи жить откажешься, станешь лютовать по-звериному. Накормишь жизнями злыдней то что сроднит вас. Очищая землю, засевайте новой. От реки уйдёшь. Но из своих земель тебе хода нет пока, а разносить новое будут сёстры твои наречённые. Ты же столпом станешь собирающим. А теперь иди да про долги не забывай свои.

Дева форму враз теряя потоком воды вниз рухнула, рассыпаясь брызгами, расплёскиваясь волнами в луже источника змеиною. Вот она была и нету.

Крепко тут Дануха призадумалась. Уж больно любят Девы излагаться заковыристо. Толи в пень тебя имела, толь в колоду сунула. Как хошь, на того и похож. Зачерпнула в ладонь влаги живительной, побулькала во рту да проглотила набранное, утерев рукавом лицо мокрое. Встала, покрутила головой в сером сумраке ища свою сороку блудливую, явно от нежити затавишующую да вслух запела тихим голосом:

– Куда пойти, куда податься, кого прибить, кому отдаться? ...

6. Народ простой по простоте душевной от безделья не мается, потому что когда совсем уж делать нечего он просто что-нибудь празднуют...

Дануха вернулась к куту своему сожжённому, улеглась рядом на бугре-завалинке, на мягкой травке под кустом смородины да принялась случившееся переваривать, тут же вспоминая свои былые промахи...

На Святки [38] то дело было. Мужики артельные уж замучились дороги торить, вешки откапывать да поправлять санный путь чуть ли каждый день. Всю седмицу снег валил нескончаемый. То с ветром да метелью, то тихим сапом. То большими хлопьями, то мелкой крупой колючею.

Баймак с жилищами бабьими да шатровый постой мужиков артельных, тут же за огородами пристроившийся, уж давно слились в один настил снежный, большими буграми искристыми. Коли бы не дымки очагов, повсюду струящиеся в небо мутное, хмурое да беспросветное, можно было подумать, что эта идиллия бескрайнего пейзажа зимнего, девственно чиста да никем не обитаема. В монотонность плавную бугров белых влился даже некогда чёрный лес с хвойной зеленью, что стоял чуть поодаль баймака да теперь казался сугробом пористым.

В каждом куте бабьем поутру раным-ранешенько одна и та же рутина делается. Изо дня в день. Из года в год. Хозяйка как всегда продирала zenки первую. Подбрасывала дров в очаг, что погаснуть за ночь не должен ни при каких обстоятельствах. Коль огонь в очаге погаснет да не раздуть, то это беда верная для кута бабьего. Тут и весь бабняк встаёт на уши. Как-никак чрезвычайная ситуация. О таких делах Дануха слышала, конечно, но на её памяти подобного ещё не было в баймаке Нахушинском.

Она баб своих за содержание огня держала в строгости да каждый очаг как родной знала во всём поселении. К этому её ещё мама приучила с детства раннего. Потому очаг был первым, кого будила да кормила хозяйка каждая, а уж потом только за себя бралась да за дела домашние.

Умывалась в ушате с водой нагретой, что тут же стоял у очага горящего, прибирала волосы в две косы бабьи да между делом травяной отвар для детворы варганила с молочной кашей болтушкой, наполняя её чем-не-попадая. У каждой бабы свои вкусы, свои предпочтения, что от мам к дочерям уходили родовыми секретами. Кто орехом толчёнными да семенами сдабривал, кто листом сухим перетёртым с кореньями, кто с леченым сбором коли хворь какая случалась с детками.

В этом отношении Дануха единых правил не устанавливала. Носа длинного в бабьи котлы не засовывала. Бабы знают, что делают и влезать ещё в эту шелуху обыденную большуха никогда себе не позволяла, хотя нет-нет да проверяла, кто там чем детей пичкает.

Но это так, для других целей подкожно-задиристых. Надо же было повод большухе иметь кого за волосы потаскать да по мордасам похлестать по случаю. Дануха доброй не имела права быть по определению. Большуху бабы должны как одна уважать, а значит, как огня побаиваться. От этого зависела спайка бабняка да его единение, а стало быть и лёгкость в управлении поселением. Бабам ведь только дай слабину, так каждая из себя большуху корчить начнёт и тут уж не только на голову усядутся да там нагадят, чего доброго, так ещё и меж собой пере цапаются. А коли бабы сцепятся по-настоящему, то даже нежить с полу житью топиться кинутся. Так что уж пусть лучше дружат супротив неё, чем дерутся меж собой до смерти.

Особо большуха придиралась к облику внешнему самих баб да детей их, на возраст скидки не делая. Имела такую слабость-привередливость. Сама чистоплюйкой была пожизненной и бабняк приучила к этому. Поэтому баба каждая поутру прибирала себя с такой тщательностью, что хоть гостей принимай да на смотрины себя выпячивай. Окромя того, хозяйка каждая за детей своих пред бабняком держала ответ. Что-что, а лени да непотребства в убранстве Дануха терпеть не могла до бесчинства лютого и это все бабы знали, как облупленные. Любая неопрятность с неаккуратностью, замызганность иль не дай Святая Троица грязь какая-нибудь, бесила большуху доводя до белого каления, а доводить её до такого состояния было себе дороже в любом случае. Поэтому убранству утреннему придавали все особое значение, а с годами так привыкали к хорошему, что и не мыслили себя без этого.

Лишь закончив с собой да столом утренним, начинала мама поднимать ребянтю разоспавшуюся. Те, как всегда из-под нагретых шкур вылезали с неохотой, толком сразу из грёз не вываливаясь. Кто глазки сонные протирал, шурясь на очаг полыхающий, кто вовсе их не открывал, продолжая досыпать да сны досматривать.

Пацаны всегда вставали первыми. Кто сам вылезал, кого девченьята выпихивали. И вот уж молодцы, пошатываясь кружком стоят у помойной лохани скобленной, да задрав до пупа рубахи нижние выуживают из-под них свои брызгалки. Покачиваясь словно берёзки на ветру из стороны в сторону, досыпая свои сны последние, поливали кому-куда-вздумается. Кто-то точно, кто-то мимо, у кого-то вообще струя вверх задирается. Мама, конечно, помогала им целиться путём затрещин да за уши дёргая. Словцом крепким фиксируя их шаткие положения, из коих «кривоссыха» было самым ласковым.

Ну, а за ними щебеча голосами писклявыми, дружно, но выстраиваясь в очередь вставляли девченьята лохматые. Кучей общей как пацаны давеча им было несподручно лохань обихаживать, оттого начинали с самой малой посикухи на долблёнке пристраиваться. Они как одна корча рожицы, смешно подражали маме, «кривоссых» обругивая, что намочили всю солому напольную, отчего им бедным ступить не куда.

Пока девки зады голые, посудине помойной демонстрировали, пацаны подвергались сущему наказанию. Они умывались принудительно. Верней, кого мама умыла, тот умылся,

считай. Кого не достала, тот не очень, естественно, а кое-кто у очага пригревшись вновь засыпал беспробудным сном.

Но, в конце концов, безобразие «побудное» заканчивалось и наступало «завтра» долгожданное, то есть завтрак на столе, малышня пред ним в канавках сиживая. Здесь уже никого уговаривать не требовалось. Правила простыми были, но жёсткими. Не успел, проболтал аль проспал, кляня носом значит сам виноват. Поделом тебе. До стола следующего, что в обед накроется, никто подкармливать не будет нерадивого. Куска не перехватить, «червячка не заморить» просящего. Никто не даст, никто не сжалится, хоть ложись в ногах у мамы да помирись с голоду. Всё равно не даст, ещё и по шее обломится.

Затем начинались сборы тех пацанов ватажных, что постарше значились. Им работать да трудиться в первую очередь. Надо вход откопать от снега за ночь навалившего, проход отрыть тот что за зиму превратился в стены снежные, высотой больше роста мужика взрослого. Очистив проходы кутовы, пацаны делились на группы разные, но делились уже собравшись всей ватагой на площади. Там ватажный атаман Девятка сам уже определял, кому воду по домам да баням таскать с проруби, кому в лес за дровами путь держать.

Лично Девятка всегда в лес хаживал, притом через артельных мужиков обязательно. Там кто-нибудь из ближников самого атамана артельного, а иногда и лично Нахуша коль был в настроении, отряжал в помощь мужиков-охотников. Без них пацанам в лес в ту пору ходу не было. В любое другое время они бы сами не спрашивали, но только не теперь в пору лютую.

К Святкам волк доходил в своём зверстве до самых страшных беспределов в деяниях. В это время лютовал он, страх теряя, порой доходя до безумия. Волчьи семьи совсем за зиму оголодавшие, а значит и в корень обнаглевшие, не только вплотную подходили к зимнему лагерю стада артельного, прижавшемуся к становищу мужицкому, но бывало и на сам лагерь насакивали, а то и вовсе на баймак, где лишь бабы да дети малые.

Мужики знали да пацанов науськивали, что это есть последний да самый важный бой с волками за зиму. В ту пору было не до хитростей, не до откупов с подачками. Теперь супостатов серых бить надо было да истреблять безжалостно. Убивать да калечить нещадно в большом количестве. Зверь ополоумел совсем, бояться перестал, к тому ж чем больше его убудет, тем меньше наплодится в будущем.

Буквально опосля Святков атаки волчьи на убыль пойдут. У волчиц, что в семьях заправляют, гон начнётся и стаи, да и сами их семьи развалятся. Но сейчас пацанов прикрыть надобно, да и серых, что подобралась шибко близко погонять, пострелять да подальше в лес отогнать, припугнув как следует.

Отправив пацанов на работы каждодневные, хозяйки начинают собирать посикух с кутырки-девченятами. Этих требовалось гулять спровадить, чтоб под ногами не мешались да ни путались. Вся эта шантрапа писклявая вываливаясь кучей общею на площадь селянскую, рыла норы в сугробах, играла в куклы самосвязанные да шумно носилась, затеявая игры нехитрые.

Дануха всегда в это время выбиралась из своего логова подышать воздухом. Так как детей у неё на воспитании не было, [39] то откапывалась баба сама без сторонней помощи. И кут, и двор содержала руками собственными, ни на кого сей труд не перекладывая. На огород свой, правда, девок нагоняла порой, когда надобно. Да и ватажный атаман пацанский следил за наличием дров да воды в хозяйстве большухи привередливой, но двор с кутом никому не доверяла. Мела да чистила самостоятельно. Эта работа, что называется для души была.

Большуха по площади среди мелюзги расхаживала, улыбаясь ласково да разглядывая каждого ребёночка. Для них она была вековушка добрая. Говорила ласково, не дралась да ни задиралась попусту. Не ругалась ни по-простому, ни матерно. А главное в игры не вмешивалась. Хотя кутырки, что постарше при виде Данухи тихарились, побаиваясь. Игры бросали да вид делали, что только и делают то, что во все глаза за посикухами следят да присматривают.

А то, что куклы плохо прячутся под тулупами тёплыми, так это не страшно совсем. Дануха древняя уж не видит сослепу. Ничего ж не говорит, а значит и не заметила.

Большуха не любила Святки да чем старше становилась, тем больше ненавидела это время зимнее. И всё вот из-за этих посикух ещё совсем махоньких. С каждым летом в своей жизни проникаясь к ним всё большей жалостью. Вот к бабняку с летами только злее всё становится да привередливей, а с этими наоборот. Так глядишь и до слёз дойдёт. Да, вот что значит векование.

К Святкам начинали забивать излишний скот, уменьшая поголовье стада полудикого, чтоб на кормах оставшихся, до весны дотянуть без падежа ненужного. Поэтому столы праздничные от мяса ломились разного. Начиналось время «мясоедное», для животов раздольное.

Кормились все от пуза, кроме вот этих маленьких созданий человеческих! Для них начиналась седмица голодухи безжалостной, но так было нужно да притом не большухе-кровожадной, а для мальцов самих в качестве обучения.

Через это их пропустить надобно обязательно да как можно жёстче, со строгостью. Хотя у самой большухи это в последние лета не получалось, ни хватало строгости. Что-что, а с посикухами лютовать, не сподручна она была. Сердце они смягчали быстро, паршивцы маленькие. Но ни Дануха эту традицию завела во времени, оттого не ей ломать да перемены устраивать. К тому ж умом-то понимала всё, а вот сердцем...

Надо было обучить их выживанию. Посикухи в кучки сбивались по возрасту да ходили от кута к куту, от стола к столу еду выпрашивая, становясь «поберушками» да попрошайками. Никто не имел право кормить их за просто так. Мамам так вообще на этой седмице своих детей кормить запрещалось категорически. Совсем. Ни воды попить, ни крошек с пола собрать. На ней лежала обязанность учить как лучше да сподручней выпрашивать эту еду в других кутах по соседству вырытых.

В этом жестоком со стороны обычае было своё зерно разумности с рациональностью. В любой момент эти милые комочки жизни могли остаться совсем одни. Без мамы, а иногда и без рода всего, и единственный способ выжить для них было попрошайничество. Где угодно, у кого угодно лишь бы с голоду не окочуриться. И чем лучше да «профессиональней» они это делали, тем больше шансов у них было выжить в этой жизни немилостивой.

Что бы там не говорили, обеляя старину да в идиллию расписывая, в лихие годы чужие дети никому нужны не были. Своих бы поднять да выкормить. Сердобольные да жалостливые не только были не в почёте, но и считались сродни полоумным да свихнувшимся, от коих и сами держались по далее и детей укрывали-прятали.

Ходила Дануха по площади, мерным шагом расхаживала да беззаботных деток разглядывала. По домам в это время большуха нос свой вездесущий не засовывала. Ну, коль только какую непотребность или явное упущение в убранстве найдёт, но это бывало редко, тем более в пору зиму. Недогляда в одеянии ребятишек пред выпуском на морозы лютые бабы не допускали, как бы заняты не были да бестолковы от рождения.

А в самих кутах Дануха и так знала, что творится-делается. Кутырки на подросте да навыдане с ярицами свою красоту наводят, по дому работают. Помойную лохань надо вынести, опорожнить в нужном месте да вычистить. Солому под ней поменять, а то и во всём куте заодно. Посуду опорожнить, отдраить, убрать да за готовку приниматься под присмотром маминим. К обеденному столу орава нагуляется, пацаны натрудятся, соберутся голодные их кормить надобно. А у посикух стол сегодня особенный, праздничный, последний на этой седмице в родном куте подаваемый. В общем, все при деле как обычно каждый день зимой.

К вечеру Дануха собрала бабий сбор в своей норе вместительной. Жилище у неё было просторным, как раз весь бабняк по лавкам рассаживался, притом строго по ранжиру заведённому. Баба каждая своё место знала не путала. Никаких ссор, передряг с перебранками. Идиллия прямо сказочная.

Приходили к ней в кут несмотря на то что самой большухи в землянке не было. Так заведено было с тех самых пор, как большухой стала в селении. Прежде чем собраться бабняку Дануха из кута уходила заранее. То на реку уйдёт, то по огороду шастает, то в бане отсиживается, давая возможность бабёнкам рассестись да словом обмолвиться.

Нельзя сказать, что бабы целыми днями друг друга в глаза не видели. Хотя в куте у каждой дел неспорно да у каждой как не спроси, по горло булькает, но и друг к дружке бегали да просто по-соседски балакали новостями да сплетнями обмениваясь. А как же бабам без этого?

Но вместе вот так собирались редко. Тут и толки другими были да разговоры более приличные. Блядских [40] да непотребных здесь не заводилось в принципе, ибо большуху как одна все побаивались. За такие вещи и ближниц своих не щадила Дануха языки быстро укорачивая да своей клюкой по чему не попадая охаживая. Хоть и считалась их большуха вековухой да больная на ноги, но матёра была, ни-дать-ни-взять, ни отобрать силою. Хоть сама себя за матёрую не считала, ибо не положено, но взглядом одним могла любую в хворь уложить не по тужившись.

Дануха в бане сидела собственной и всё что говорилось в куте через шкуру-загородку слышала. Тогда-то и пошёл среди баб впервые пустозвон о некой чёрной нежити. Только тогда это в виде сплетен от кого-то прилетело, а сплетня, она ж ещё хуже сказки будет вымыслом. Так размалует естество, что не только до не узнаваемости, но порой и переворачивая всё с ног на голову.

Большуха послушала, послушала, да и решила пресечь это блядство на корню выползая из укрытия. Все говоруньи замолкли, словно в рот воды понабирали да пустым местом прикинулись. Вышла она на средину меж ними опираясь на клюку старую. Каким-то мутным взглядом глаз полуприкрытых осмотрела каждую снизу доверху, почесала свою седелку да еле слышно, чтоб все прислушались, начала беседу воспитательную:

– Хватит воду в реку лить, пугалки девичьи пережёвывать. Делом надобно заняться.

Бабы замерли, даже подолы теревить перестали. Большуха продолжила:

– Вот чё бабоньки я скажу для вас. Этой ночью снег утихнет за долбавший нас за время последнее. Небушко проясниться да к нам на несколько деньков Вал Морозный заявится. Сразу предупрежу, злой аки волчара с края голодного. Знать Мороз не мужик. За жопу схватит, бабью душу не согреет, а за чё хватит, то и отвалится. В аккурат на Святки припёрся. Надо ж как... Встретить надобно как заповедано. Закормить, задобрить. Злым он нам, ой, как не нужен тепереча.

Бабы дружно закивали, забубнили, создавая мерный гул как в дубле с пчёлами. Тут Дануха брякнула клюкой об пол земляной, но от чего-то гулко у неё это вышло, словно Сладкая своей ножкой топнула. Замолчали в раз, лишь одежды шелест с тихим потрескиванием в очаге создавал нервозность да насторожённость, мешком тяжёлым повисшим в воздухе. Они помнили разнос большухи на Святки прошлогодние, да тут ещё Дануха им напомнила:

– Да вы сучки не скупитесь, как, то было в прошлу зиму, принесли как обосрали.

Злобный взгляд её блеснул грозным всполохом по попритихшим бабам, что глаза в солому тупили, свою вину в полной мере сознавая да раскаиваясь.

– Чуют жопны мои кости, – продолжила большуха тихим голосом да скрипуче старческим, – зима лютой будет да не короткой как прошлая.

Затем ещё раз обвела бабняк весь взглядом немилостивым да уже привычным тоном своим ледяным замораживающим, словно раздавая подзатыльники закончила:

– Дров запастись более обычного. Пацанов отрядить в лес да чтоб ни по одному разу сбежали. Атаману скажу, мужичков в помощь даст, никуда не денется. Брат Данава в аккурат к половине дня заявится. Детей всех, да и самим жиром мазаться. Мне ещё отморозков на завтра не хватало. Всё поняли?

И на следующий же день, что Дануха предсказывала, оправдалось в полной мере, да ещё с довесочком. Небо прояснилось за раз, даже тучки не видать нигде. Воздух с самого утра точно зазвенел от мороза лютого. В дымке низкой солнце блёклое на краю неба светит тускло, будто снегом вымазано. Ветер стих, как и не было у природы стихии такой, а снег под ногами закрипел до противного. Мерзко, громко, с хрустом по ушам режущим. Пацаны в отличие от дня обычного в лес по две ходки сделали, натаскав дерева горячего и для бабьих кутов, и для бань, и для костра общего, что в центре площади складывали...

7. Когда из тебя мужик вроде бы как не мужик, а в бабу наряжаться ещё совестно иди народно проповедовать истины. Там как раз все собрались не от мира сего...

К полудню со стороны источника змеиною, пробираясь сквозь заносы снежные пожаловал родной брат Данухи Данава – родовой колдун Нахушинский. По летам он не молод был, чуть моложе сестры своей, но лицом казался древнее древнего, а кто лично не водил знакомства с ним близкого, для тех страшен был из-за росписей колдовских его лик украшающих.

Хоть и шёл он не издалека по местным меркам речным, всего лишь из леса соседнего, но такая дорога далась тяжело бедному. По крайней мере, выглядел он уставшим да изрядно измотанным. На нём шкура бера рыжего, мехом внутрь завёрнута. Шапка волчья с волчьей же башкой поверх шапки нахлобученной, от чего мерещилось народу издали будто у Данава две головы, одна на другую посажена. Ноги кутаны в мех бобровый по самые «эти самые». На ступнях решётка из прутьев вязана, эдакие «говноступы» укороченные. Руки в варежках-мешках с когтями зверюги неведанной.

Во всём этом одеянии колдун казался большим да грозным созданием, хотя без одежды худосочен был словно дрищ замороженный, за что Дануха над братцем вечно потешалась да ни упускала момент по стебаться над немощным. Но лишь один на один без свидетелей. Тот на неё, как водится, по мягкости своего характера никакой обиды не держал за пазухой, каждый раз всем видом показывая, что вовсе не обращает внимания. С малолетства привык к её колкостям. Хотя, когда весел бывал, что случалось порой и то по великим праздникам, нет-нет да огрызаясь, пройдясь мельком по её телесам перекормленным, во всех местах жиром пышущих.

Колдун ко всему прочему тащил за спиной мешок большой самотканый из травяной нити суровой вязаный, кой обычно под рыбный улов использовали, а в руках тягал посох увесистый с белым словно снег черепом какого-то зверя странного в качестве набалдашника.

Весь род вывалил встречать Данава разодетого, даже атаман Нахуша – глава рода с мужиками пожаловал. Пацаны помогли колдуну на бугор вскарабкаться, тропку пред ним протаптывая да освобождая колдуна от ноши отяжеляющей.

Тот устало взобрался, смачно плюнул на плечо левое [41] да опёршись на посох руками обоими, согнувшись от усталости в три погибели, оглядел народное собрание. Затем обнял сестру подошедшую, с атаманом персонально здоровался да со всеми присутствующими, покивав им головами обеими. Никого не спрашивая, и ни с кем не разговаривая, прямоком прошлёпал на своих вязанках в кут большухи, что в аккурат крайним к реке пристроился.

Там с себя шкуры скинул прямо на пол в церемониях не расшаркиваясь, да в баню прошмыгнул натопленную, проблеяв на ходу своим тонким голоском вибрирующим, даже не оборачиваясь:

– Данух, дай чё горячего внутри погреть.

Большуха зачерпнув в ковш варева парящего стоящего в глиняной миске у очага пылающего, подала знак бабам, заполнявшим вслед за ней жилище просторное, мол, готовьтесь бабоньки, и нырнула вслед за братом под полог в баню вход прикрывающий.

– Есть чё будешь? – вопрошала она, ковш протягивая с травяным отваром колдуну замёрзшему.

– Нее. Не голоден, – отвечал Данава, ноги к камню банному протягивая да шумно прихлёбывая пойло горячее, – как тут у вас? Всё ль спокойно вокруг?

Судя по гримасе лица его исписанного да исчерченного шрамами ритуальными, да по напряжённости вопроса заданного, большуха в раз почувяла что-то не ладное и это бабу насто-рожило нешуточно.

– Тихо всё, – ответила она на брата уставившись, – ты б не припёрся, так вообще благодать была. Волки и то не дерзят как давеча, а чё случилась-то?

Колдун, как и не услышал будто иль сделал вид, что сестра ничего не спрашивала. Не меняя позы расслабленной да продолжая отвар прихлёбывать, опять задался вопросом как бы между прочим, как бы невзначай на ум пришедший, откуда-то:

– Чужие не забредали к вам?

Дануха прежде чем отвечать подумала. К чему это клонит гость родственный? Но решив не пытаться пока, прошуршала в своей памяти чужих вспоминая да ответила:

– На Гостевой седмице [42] народ бывал. Как без этого. Из трёх баймаков соседских, люди наведывались. А от Грабовских атаман лично гостевал два дня. Волк его изрядно в эту зиму погрыз, вот и приезжал по загонному зверю договариваться. Три арийца были в сопровождении, то ж торг вели. В общем, как обычно. Да чё случилось-то? Говори уж, малахольный наш!

Но ответить колдун не успел. Шкура входная рывком распахнулась да в баню ввалился сам атаман артельный, персоной собственной, грузно на полог плюхаясь да тулуп свой толстенный распахивая.

– Чё смурной такой, Данава? – встрял Нахуша в разговор снимая шапку беличью остро-конечную да ноги свои в стороны разбрасывая, – аль окоченел по пути? Ты ж колдун, как-никак. Тебе ль от мороза мучиться?

Но Данава опять-таки никак не среагировал на вопрос ему заданный, продолжая хлебать из ковша пойло горячее. Наступила тягучая пауза. Хозяева молчали на гостя уставившись. Тот молчал, не отрываясь от ковша горячего. Наконец колдун напился, поставил ковш на полог рядышком, да взглянув пристально на атамана спросил главу рода Нахушинского:

– Атаман. А тебе «охотнички» ничего подозрительного не сказывали?

– Ты о чём? – переспросил Нахуша вроде бы как безразличным голосом, откидываясь спиной широкой на стену бревенчатую.

– Чужие тут по твоим землям нигде не шастали? Я не имею в виду гостей да торговых людей. Может где по лесам попадались нечаянно заблудившиеся иль где на дальних подступах натоптали, кто такие неведомо?

Атаман оторвался от стены, да всем телом мощным подавшись к колдуну шуплому.

– Какой дурак в это время по лесам шастает, да ещё далеко так от жилья людского? Не мути Данава. Говори чё не так.

– Чёрная нежить степная в краях завелась, – выдал колдун полушёпотом, показывая всем своим видом напуганным, весь ужас в его голове поселившийся и вместе с тем волнующее любопытство с заинтересованностью.

– Тьфу, ты отрыжка турова, – сплюнула Дануха в сердцах расстроено, – и этот малахольный туда же кинулся. Только давеча бабам языки укорачивала. Братец, ты эт с каких пор в девкины страшилки играть принялся?

– С тех пор Данушка, как только по нашему берегу четыре баймака поубивали начисто.

Дануха переглянулась с сыном-атаманом да оба на колдуна в недоумении уставились. Тот же продолжал, нагоняя страх на собеседников:

– Я тоже давеча по гостям хаживал. Заглянул к своему приятелю давнему, что на два с гаком перехода назад [43] от нас жил-поживал. Колдун он там родовой... был когда-то до поры до времени. Так вот он один от всего рода и остался в живых. Мужики артельные побиты-порублены, пацаны потоптаны-закопаны. Дети малые пола мужицкого по кутам сожжены все до

единого. Большуху с ближнецами тоже, кстати, в кутах зажарили, – молвил он запугивающим голосом, сделав ударение на «кстати» да на Дануху уставившись, как бы намекая на веские обстоятельства по её поводу, – а что по моложе, да детей всех пола бабьего, утащили в степь широкую.

Наступило молчание гнетущее. Каждый думал о своём. Атаман с большухой об услышанном, колдун видно о недосказанном.

– Ну, говори уже, колдун, – не выдержался Нахуша молчания, – чё зайца за яйца потягивать? Что ещё за нежить хренова?

– Пацанёнка он нашёл недобитого, хоть тот и помер всё равно погода чуток, но успел про лиходеев поведать приятелю. Большие, чёрные. Все как один страшные да не одна нежить, а стая целая.

– Ох, ё. Чё за напасть творится-то? — в этот раз уже всполошилась Дануха встревоженная.

– Так вот приятель мой тоже в сказки не верит, чай не пацан сопли размазывать. Схоронил мальчика да следы почитал, как следует. А натоптали они изрядно там, не скрываясь, в наглую. Нежить, как известно следами не пачкает. Отсюда следует, что ни нежить это вовсе, а люди лиходейские. Душегубы местные под нежить ряженные. Следы эти нелюди оставили конские. Кони парные, будто друг к другу чем привязанные. Таскает эта пара за собой шкуру волокушею. Шкуры разные, большие, сшитые. В основном туровы да лосиные, толстые. На этих шкурах ездят по два человека. Следы чёткие, мужицкие. Голов больше, чем двадцать раз по три. Налетели, всех побили, баб с детьми на шкуры побросали да на тех волокушах упёрли волоком.

– Арийцы, – злобно прошипел Нахуша меж зубов сомкнутых.

– Мой приятель так не думает, – поставил колдун атамана в недоумение, – арийцы на такое ни за что не пойдут. Им так мараться не пристало по канонам их. [44] На такое только гои [45] способные, да и то до ручки доведённые либо сознательно арийцами подкупленные.

– Гои то здесь откель? – в раз опешил атаман от такого предположения, – они ж в лесах с другой стороны земель арийских селятся. Как они могли сюда-то попасть? Через все земли городов [46] проехали?

– Эх, – прокряхтел Данава на пологе задом ёрзая, как бы устраиваясь поудобнее, – ещё летом до меня дошли слухи проверенные, о некой стае пацанов-переростков из гоев выгнанных, да в беглых значатся, – продолжил Данава поникшим голосом, – устроили они себе логово прям под городом, что Манла у них называется. Укрылись в лесу небольшом. Сам лес ловушками запечатали да завалами законопатили, ни войдёшь не пролезешь в него. Живут там поволчьи. Поговаривают, много их там. Взрослых нет. Бабы с детьми тоже отсутствуют. Промышляют тем, что отбирают у людей заработанное, беря не силой да умением, а большим количеством. Городских да пригородных не трогают, а лишь поодаль безобразничают. Обозы у народа отбивают да так по мелочи, – затем колдун помолчал чуть-чуть, как бы обдумывая да решая для себя рассказывать далее иль и этого достаточно, но подумав да посмотрев на смурных родственников, продолжил рассказывать, – приятель два дня по их следу шёл, пока степь не заровняло пургой. Туда следы ведут, чуть левее города. Ватага это паршивая бесчинствует. Ни богов у них нет, ни святостей. Обделённые да злые как волчата голодные. Бугаи уж выросли силы немереной. Кровь кипятков, а ума с корешок, да и тот какой-то хитро вывернутый.

– Ну, к нам то они не сунутся, – самонадеянно атаман констатировал, – а полезут так мои мужики им кровушку-то быстро остудят да рога повыломают.

– Данава, а ты чё про чужих-то спрашивал? – встряла в разбор большуха, вспомнив с чего начали.

– Так судя по тому как напали да как ловко баймак раздербанили, не в слепую налёт делали, а по чьему-то наущению. Слишком уж всё хорошо было да слажено. Что артельные

мужики, что ватажные перемолоты словно и понять ничего не успели, ни то что дать отпор. А значит, соглядатай впереди у них был, иль кто из своих науськал да указал пальчиком.

– Так ты думаешь и к нам заявятся? – вопрошал атаман, о чём-то сильно задумавшись.

– Не ведаю я Нахуша их дел пакостных, но ты уж мужиков-то настропали, как положено, – посоветовал колдун, вставая с полога, – а по поводу облома рогов им, не думаю. Сам Масаку помнишь. Атаманом он не хилым был, да и мужики у него не хуже нашенских, а их как пацанов сопливых. Они и не пикнули. Ладно, идти надобно народ готовить. Время уходит, поспешать требуется.

– Ох, ё – проскрипела Дануха, поднимаясь следом да новость обдумывая.

Атаман из своего угла не тронулся. Сидел отвалившись на стену да думу думал, о чём-то соображая да прикидывая...

8. Ни верь глазам своим, ибо всё что видишь – мерещится. Ни верь ушам своим, ибо всё что слышишь лишь чудится. Ни верь рукам, коли шупаешь. И себе не верь, ибо врёшь ты всё...

Вот так впервые по-настоящему узнала Дануха про эту «нежить чёрную». И теперь валяясь на траве у кута догорающего, костерила себя на чём свет стоит за всё что случилось давеча. Не доглядела, не до чувствовала она беду смертельную. И чего опосля этого стоит она как большуха всего лишившаяся?

А ведь тогда на обряде Кормления кольнуло её предчувствие, что нежить колдуном вызванная, так бесновалась, как никогда до этого. Да отмахнулась она от знамения, будто от мухи назойливой увидав в них лишь страхи собственные. И тут большуха попыталась припомнить всё, что тогда было при кормлении Вала Морозного. [47]

Дануха-то, как из бани вышла в кут да баб своих увидела, так из головы вся тревога разом улетучилась, а «пугалки» братца забылись-выветрились. Бабняк время даром не терял да подготовился к действию честь-по-чести, по совести. Так как маски напяливать бабам строго воспрещалось устоями, то они себе на лицах устраивали роспись витиеватую. Распустили волосы да, намазали краской белой, что на тёртом меле с жиром замешана. От корней до кончиков на всю длину у кого до какой обстрижены. Этой же мазнёй друг дружке рожи расписали будто иней узорчатый. Ресницы убелили с бровями, губы выпачкали. Вид у баб такой получился, что сам Мороз бы глаз не отвёл, zalюбовался бы. Какой уж тут спрос с Данухи растерянной?

Бабы все подобрались, спины выпрямили. Красота на загляденье. Данава тем временем пацанов рядил ватажных. Правда только атамана их Девятку да дружков его, что постарше бегали. В том мешке большом, что приволок колдун маски были деревянные сложенные в страшилки жуткие расписанные. Накидки из волчьих шкур да так мелочь всякая для действия нужная.

Дубины пацаны себе сами наломали позаковыристей. Неупадуха, паразит эдакий, на свою палку кусок говна тогда наколол, чтоб девок пугать да пачкать, только ведь пока до того дошло кашка та замёрзла-задубела. Об такую не замажешься. [48]

Мелочь вся пузатая во главе с девками кутырьками, ярицами да молодухами с невестками по краю площади собралась вокруг сложенных шалашом поленьев из леса натасканных. По сугробам расселась в ожидании зрелища. Тогда Данава для них целое представление устроил феерическое. Надев на себя всё своё колдовское одеяние, он сначала попрыгал, как козлик вокруг дров шатром сложенных стуча да потрясывая своим посохом с черепушкой-набалдашником, в коем что-то брякало да тренькало. А затем присел, руками помахивая, пошептался с дровами и заструился от них дымок тоненький от самого края шалаша дровяного, хотя пламени видно не было.

Отошёл шагов на девять нарочито отмеривая каждый шаг голосом да швырнул в дымок вроде камень небольшой. И бабах! Как по волшебству для селян неведомому, костёр вспыхнул

разом весь, ярко-голубым пламенем да таким огромным, да глаза слепящим, что шалаша дров из-за него не видно сделалось.

Ребятишки, что в сугробах наваленных, восседали по краям площади, от такого зрелища да от неожиданности завалились на спины ноги кверху задрав. Визг да ор вокруг, да всеобщее ликование. Тогда Данава посикух малолетних впечатлил своим фокусом. Да и девки молча в стороне не отсиделись, визжали как не дорезанные. Для всех это было громом средь неба ясного. Смог тогда братец даже Дануху уж всего в жизни повидавшую удивить, ничего с этим не поделаешь.

Когда голубой огонь спал, а костёр обычным пламенем занялся, большуха вывела своих баб побеленных, да то ж не просто так, а с песнями да танцами. Дети мамок не признали! Вид у них был такой растерянный, что большуха даже расплылась поначалу в улыбке да такой, что щёки чуть не треснули. Шире чем от уха до уха собственного.

Она вприпрыжку, грузно пританцовывая, скакала впереди баб размалёванных, что по ранжиру змейкой следом шествовали да были воем волчицы одногодки, отощавшей напрочь, оттого помирать собирающейся. Пели бабоньки кто в лес, кто по дрова, кто просто так прогуливался. Дануха тогда чуть не подавилась со смеху да от стыда не провалилась от позорища этого, а Сладкая за спиной, скотина жирная, даже не пела, тварь, а лишь курлыкала. «Курлы, курлы да раскурлы, курлы».

Большуха и так еле сдерживалась, чтоб не завалиться, надрывая живот от хохота, а эта дура толстая так и подначивала. У неё все слова в песне «курлы» были. Эта сучка, да прости её Святая Троица, с самого начала действия принялась шутовать да паясничать и сбила с Данухи весь настрой серьёзности. Да, Сладкая. Где-то ты теперь подруга верная?

Заведя вокруг костра вереницу баб, сцепила их в карагод [49] крутящийся, а сама внутри круга из мешка кожаного, что в рукаве припрятан был, стала баб опаивать зельем заговорённым. Набирала себе в рот да в поцелуе сцеживала, как птичка птенчиков подкармливала. Когда Сладкой сцеживала, прошипела, угрозу в голосе выдавливая:

– Я тебе курлы жирна, опосля устрою вечером.

Та лишь растянулась в блаженной улыбочке, мол стражай, стражай беззубая. Боялась я тебя словно баба отростка мужицкого, по мужику изголодавшаяся.

А затем зелье подействовало да карагод, что окромя смеха ничего до этого не вызывавший, изменился резко до неузнаваемости. Бабы и так размалёванные да не пойми во что разодетые, вообще перестали на себя походить, даже коль признаешь кого по лику да строению. Лица их застыли масками в умиротворении расслабленном, покраснелись, от чего узоры белые на лицах рисованные, проявились резко да контрастно, как бы даже светом морозным вспыхнули, превращая лица человеческие в нечто не земное, сказочное.

Блики огненные заблистали, поигрывали на их лицах жиром мазанные колдовскими всполохами. Цепь задвигалась как нечто единое целое. Чёткий ритм поступи, след в след. Качаясь да колыхаясь будто одна другой тень аль отражение. Вид их общий завораживал да прико-вывал к себе взгляды восхищённые.

Голоса и те изменились словно всем глотки переделали. Вместо «леса по дрова» зазвучал хор стройностью, только запели бабы высоким голосом, словно комары пища, отчего слов их пения не разобрать было, но песнь мотивом выводили без помарочки.

Зрители, что в сугробах мягких устроились, находясь в дурмане гипнотическом от зрелища ритуального вдруг взорвались отчаянным визгом девичьим вперемежку с детским рёвом закатыстым. Как из-под земли аль снега белого, откуда-не-пойми, прям пред ними стоя серой мохнатой «нежити» выскочила со страшными мордами масок рисованных да палками в лапах вида ужасающего.

Посикухи со страха в сугробы нырнули да зарылись там, молотя мягкий снег своими ручками да ножками и пропахивая в нём колею носами сопливыми. Девки что постарше от

визжав да наоравшись на пацанов-дураков, что напугали чуть ли не до рубях подмоченных, принялись посикух из сугробов вылавливать, отряхивать да успокаивать, утирая слёзы с соплями да снег на их лицах растаявший.

А ряженные продолжали носиться как угорелые вдоль рядов девичьих, кривляясь да пугая малышню и без того перепуганную, голоса как им казалось рыки устрашающие.

Но тут на помощь детворе родовой колдун появился с посохом. Лихо стал ловить «нежить беснующуюся» да поймав каждого поить из узкого сосуда принялся. Опосля заталкивал напоенного под руки карагода бабьего широко расставленные, к костру поближе в объятия больших их там дожидающейся.

Те, поначалу попрыгав вокруг её для вида да мерзко дёргаясь, замирали в ступоре да принимались раскачиваться словно пьяные, а затем как один на карачки попадали да башками в снег усталились. Вроде как уснули кверху жопами.

Переловив всех пацанов ряженных, да затолкав их внутрь карагода кружащего, Данава и сам за ними следом нырнул, и здесь началось главное, ради чего затевалось всё это представление.

Ряженные мало-помалу оживать начали. Продолжая стоять на четвереньках, принялись шевелиться да поползли кто куда как слепошарые, постоянно друг с дружкой сталкиваясь, от чего кто-то резко взвизгивал пугающе, кто-то рычал басом в оскале озлобленном, словно каждое их столкновение доставляло боль нестерпимую или жутко обижало непонятно чем.

Постепенно шутовство-дурачество переросло в естество реальное. Их движения стали резкими, агрессивными. Голоса огрубели до низких тембров кровь выхолаживая. В один миг пацаны разодетые, стали походить на зверя лютого, забивая бабий хор с их фальцетом, воем, леденящим душу да рыком наполняя округу баймака Нахушинского.

Ещё б чуть-чуть и вцепились бы друг другу в глотки устроив грызню с дракою. Дануха уж всего навидавшаяся в своей жизни немаленькой и то поначалу опешила, а вот Данава наоборот, вместо ступора задёргался да быстро взял под контроль беснующихся, хотя сделал он это скорее со страха, чем осознано. Это видно было по лицу его обескураженному, что изуродовало татуировки да шрамы ритуальные гримасами паники безвыходной.

Дануха давно не видала братца в таком испуге нешуточном. Он накинудся на них и давай орать, переходя в своих воплях на визг девичий, и при этом лупил их без разбора посохом, вернее черепом, что был на его оконечности.

Получив по башке вот такое «благословение» нежить впадала в некое оцепенение. Лишь опосля того, как огрел каждую, а кой кого и не по разу «пригладил» с перепуга трясущегося, восстановился у костра порядок мало-мальски приемлемый. Только бабий карагод на всё это безобразие никак не среагировал, продолжая всё так же мерно шествовать с отречёнными от всего мира лицами, да так же распевать свою песнь странную да никому не понятную.

Брат с сестрой посмотрели друг на друга, но каждый взглядом по-разному. Дануха с тупым непониманием происходящего, Данава с выражением обессилившего. Один в один похож он был на мужика опосля Кокуя [50] тяжкого, умоляюще на бабу смотрящего в блаженной надежде сбежать от неё проклятушей быстрее своих ножек резвых куда-по-далее.

– Чё эт с ними? – спросила большуха колдуна в полголоса.

– Я бы знал, – так же тихо отвечал ей Данава взмокший от усердия, – только кажется мне, ничего хорошего. Как ты думаешь, круг удержит коли кинутся? Кабы не разбежалась нежить по баймаку да делов не наделала.

– Ты меня спрашиваешь, ***? [51] Кто у нас тут колдун? *** ***.

– А-а, – отмахнулся Данава на слова её матерные.

Так стояли они на пару да смотрели молча на нежить прибитую, что была в некой дрёме или колдовском мороке. Полагалось, по сути, с каждой дрянью побеседовать по очереди. Сначала узнать кто вселился в живую куклу пацана ряженого. Затем в зависимости от содержи-

мого, как следует по расспрашивать эту нежить в той области из коей тварь вырвалась. Например, коли в кукле волкодлак [52] сидит, то можно спрашивать о волках всё что вздумается, притом ответит нежить на любой вопрос и не сможет отмолчаться, как бы ни артачилась.

Коли в пацана маньяк полевой [53] подселился, то его пытаются о погоде на всё лето грядущее, да об урожаях можно эту нежить спрашивать: что лучше по весне сажать да в каком количестве. Ну и так далее да по тому же месту, как из года в год делалось.

– Ну. С кого начнём? – спросил колдун с выражением на лице изрисованном, мол лучше бы совсем не начинать эту затею пагубную.

– Да, ***, братец, – всё так же насторожено отвечала ему сестра старшая, – давай чё ли с этого.

Она указала на ближнего. Колдун набрал поила в рот из сосуда узкого, пополоскал да выплюнул. Затем встал на колени перед указанным да с шумом дунул в маску разрисованную. Тут же отскочил назад, схватив посох наизготовку да приготовился.

Нежить дёрнулась. Не спеша, поднялась на ноги. Осмотрелась медленно. Не успела большуха ей вопрос задать, мол кто такая, чудо дивное, как та на Дануху рыкнула да резво рванула в сторону, но налетев на стоящих «сестёр» своих, споткнулась да на снег рухнула. Завизжала барахтаясь, но ползком словно вплавь по воде миновала своих соплеменников устремляясь на место свободное. Лишь из стада ряженных выбравшись да в бабий круг упёршись модою, нежить замерла к прыжку приготавливаясь, жадно малышню меж баб разглядывая да низким, утробным голосом возликовала торжественно:

– Кровь! Корм! Жрать!

У Данухи от такого рёва лаконичного аж внутри что-то ёкнуло да оборвалось к едреней матери. Ужас по всему телу бабьему разлился сверху донизу вязким варевом. Но большего прорычать ему не дал колдун, вслед за ним скакавший, через ряженных перепрыгивая. Подбежал он к озверевшей нежити да с размаха по башке брякнул набалдашником посоха. Нежить дрогнула, обмякла да повалилась на бок, клубочком устраиваясь, зачем-то громко хрюкнув при этом, как бывало Сладкая делала.

Такое поведение нежити не укладывалась в головах старожил рода Нахушинского. Те, кого Данава вынимал из небытия да в куклы рассаживал, всегда были сонными. В это время года почитай вся эта нежить спит. Потому общение с ней подобно было тому, когда говоришь с поднятым, но не разбуженным. Нежить куксилась на вопрос держа ответ. Жалко хныкала недовольная, что тревожат попусту да спать не дают досыта. Все движения были вялые, сумбурные. Постоянно мямлила иль языком едва ворочала. Но проснуться полностью не могла по природе своей в это время заповедное. Что творилось теперь, Дануха никак объяснить была не в состоянии.

Непонятная тревога грызла бабу изнутри словно зверь какой. Сердце ухало в ушах, куда сбежало из груди прятаться. Но Данава тогда разрядил «непонятку» с лёгкостью, признав вину свою сразу и безоговорочно. Убедив большуху встревоженную, что непотребность эта по его промашке, бестолкового. Мол, напортачил что-то с пойлом заваренным. Толь неправильно сварили, толь заговорил наискось. И Дануха, дура, поверила. Потому что это было самое простое объяснение. Потому что в это ей хотелось верить тогда. А вот во что-то страшное, верить не хотелось категорически.

– Ну, чё? – вопрошал её Данава до смерти перепуганный, – будем ещё кого будить да спрашивать?

– Да ну тебя на хрен мелко порубленный, – злобно рявкнула большуха рассержено, – ты и так уж накуролесил, криворукий мой. Того и гляди самым в глотки вцепятся. Отправляй-ка ты их обратно в дырку вонючую. Недоделанное ты создание.

Колдун будто только и ждал этого. С нескрываемой радостью дела сделанного, торопясь чтоб сестра не передумала, стал подтаскивать по одному к костру ряженных, да начал «разря-

жать их куклы» от нежити. На этот раз он не дул в маски, а высасывал да резко выдувал на огонь, будто сплёвывая. Опося чего срывал личину рисованную и пацан валился на снег туш-кой безвольною, не то в обморок, не то в крепкий сон проваливаясь...

Дым драл горло несусветно, спину припекло от земли горячей почти. Села Дануха, в темноту крошечную всматриваясь да тут же поняла, что задыхается. Ветра не было и дым от жилищ догорающих, едкий, мерзкий, с каким-то противным привкусом, будто мясо сгорело что до костей сожгли, заполнял округу плотным облаком.

Нестерпимо глаза защипало, аж до слёз болезненных. В голове промелькнула мысль паническая: «надо задницу отсель уносить по-быстрому, а то задохнусь тут к едрёной-матери».

Дануха встала да на ощупь, лишь ориентируясь по памяти обошла кадящий баймак ого-родами да полезла на холм, что у них звался Красной Горкой испокон веков. Лишь продрав-шись сквозь бурьян травяной наверх, да задышав полной грудью расправленной, остановилась баба, утирая слёзы рукавом да дыша как загнанная.

Обернулась да вниз уставилась, стараясь рассмотреть в этой черноте хоть что-нибудь да опять заплакала, непонятно от чего на этот раз. Толь от дыма глаза продолжало есть, толь от обиды за то, что случилось непоправимого, толь от того и другого вместе взятого.

Вновь помянула она Святки последние с кормлением Морозовым.

Тогда пацанов ватажных так и не пришедших в себя на руках разносили мужики артель-ные. Баб своих вспомнила всех до одной, как наяву представляя каждую. Как тогда опосля карагода охранного разводила бабью цепочку с «хвоста» по очереди, так по очереди и вспом-нила.

Никто тогда из баб по выходу из дурмана опоенного, не смог устоять на ногах, все попа-дали. Первые, что по моложе был, так вообще срубленным деревом в сугроб рушились без сознания. Те, кто постарше, лишь садились на задницы, теряя равновесие с устойчивостью.

Ей припомнилась малышня посикушная, что мамок тогда почитай бесчувственных по родным углам растаскивала, где в банях домашних отогревали их да приводили в сознание. А как вспоминая дошла до Сладкой, подруги своей с детства самого, с коей прошла её жизнь горемычная, разревелась в голос да навзрыд словно кутырка сопливая.

Та как вышла из дурмана лишь качнулась слегка да растянула харю в улыбке радостной. Хрюкнула громко словно поросёнок молоденькая, как всегда это делала, да со всего маха на спину рухнула, раскидав руки в разные стороны. И опять тогда её выходка бесшабашная стёрла всю серьёзность происходящего в Данухином сознании. Она Сладкую отмазкала, как следует. Не со зла, конечно, да и не в серьёз, естественно. А та в ответ принялась дурачиться, смешно пытаясь из сугроба выбраться, что у неё не получалось как не пробовала. При этом она изда-вала звуки различные, непотребные да громко хохотала до слёз размазывая краску по харе жиром намазанной...

9. Была Варвара мужиком, да любопытство подвело. Оторвали Варваре на базаре...

Зорьку выбросило из воспоминаний сладостных, когда трянуло крепко это несуразное средство транспортное. Толи кочка большая попалась там, толи колесом на камень наехали, притом в аккурат с её стороны лежания. Тушку ярицы по рукам ногам вязаную вверх подки-нуло да на край коробки бросило, там, где у неё борта не было. Она край тот, ногами почу-яла. Тело затормозило на животе, что позволило приподнять голову да украдкой осмотреться вокруг подробнее.

Увидела сразу две пары ног. Одни, что впереди стояли обуты были в мужские сапоги кожаные, а вторые, что ближе – лапы беровы, но ни те, ни другие не смотрели в её сторону, что позволило ей осмелеть да поднять глаза на нежить чёрную.

Тут кутырка и обалдела аж челюсть на пол выронив. Оба оказались людьми арийского рода племени! Эту народность ей знакомую ни с кем не спутаешь. Один, конями управлял длинными верёвками, а другой облокотившись на борт лишь обувку имел в виде лап беровых, притом сапоги высокие, выше колена ноги закрывающие. А так мужик мужиком только раза в два здоровей первого.

Оба стояли, не смотря в её сторону. Сердце ярицы затрепетало в груди так, что казалось, наружу выскочит. «Бежать», – мелькнуло в голове девичьей, – «в траву да схорониться тетёркой малую».

Оглянулась Зорька. Коробка катилась по степи прямёхонько, дорог не выбирая торёных. И пусть трава в местах этих, рост не набрала как за их огородами, но укрыться в ней можно было, коль пластом лежать да задницу не выпячивать.

Принялась она извиваться телом связанным, аккуратно сползая на край нащупанный, да украдкой поглядывая на захватчиков. Наконец соскользнула со шкур в траву степную, при этом чуть головой о землю не шмякнувшись. Быстро откатилась в сторону да замерла, уткнувшись носом в пучок травы.

Но не успела ярица обрадоваться побегу удачному, как рывок резкий чуть ноги не выдернул. Крутануло Зорьку, развернуло. Нешадно потащило по стерне жёсткой да мелким камешкам. Как назло, трава по пути попадалась колючая, да и камешки в земле далеко не покатые. А потом вообще на какие-то кусты наехала. Ни трава, а деревья целые.

Обе рубахи почти сразу задрались на голову, так как тащило её вперёд ногами бедную и оттого скребла землю абсолютно голая. Сложилось стойкое ощущение, что ей на голову мешок накинули. Света белого не видно, да и дышать резко стало затруднительно.

Ужас девку обнял, паника, от чего забились она в молчаливой истерике, головой мотая из стороны в сторону в рубахах закутанных, да мыча носом, будто кто рот зажал ладонью широко. Зорька тела своего не чувала. Даже не понимала тогда, что голышом по земле едет кверху задницей. Вернее, ярица не помнила о своих ощущениях в тот момент от страха панического, хотя её естество нежное буквально протиралось на тёрке каменной, сдирая тонкую кожу да до мяса тело царапая. И вообще, даже опосля ничего не помнила из того, как поранилась.

Только тут перестали тащить. Всё вокруг резко замерло. И тогда осознала Зорька умом своим от страха парализованным, что её притащили на гибель верную. В аккурат в кострище непогашенное. Потому что тело девичье с головы до ног в раз зажгло безжалостно. Завертелась девонька рыбой жареной, что на раскалённом камне к обеду готовится. Закусила кубки алые, чтоб от боли нестерпимой не заняться криком предательским.

А тут кто-то ещё ухватил её волосы чрез «мешок наброшенный». Грубо дёрнул, вверх подкидывая словно пушинку невесомую. Она и вовсе потеряла ориентацию, заблудившись, где земля с небом находится, но не успев уж в который раз испугаться как следует, тут же стукнулась ногами о землю твёрдую.

Голова закружилась от такого выверта, но Зорька приложила старание, чтоб удержать равновесие да не упасть опять в костёр воображаемый. Рубахи, что мешком на голове были собраны, в раз расправились, да и приняли привычное положение. Глаза ярицы ослепил диск солнечный, оказавшийся прямо перед лицом её вверх заданным.

Ничего ни понимая в этой жизни грёбанной да соображая с трудом где находится, не видя пред собой ничего в упор глазами прищуренными, все же заметалась взглядом бешеным по сторонам осматриваясь, тяжело дыша с голосом. Девка так и не успев понять «что-здесь-где» да «какого пса вонючего», направилась в очередной полет оказавшись в воздухе, только пред глазами замелькало небо с облаками, да ещё что-то непонятное.

Лишь когда её больно брякнули об пол коробки уже ненавистной по запаху, ярица сориентировалась в своём пространственном положении да не осознано вдавилась в стенку мехом обитою, поджав колени к груди да пытаясь за ними спрятаться.

Её бестолковый взгляд мечущийся, упёрся в морду мужика в сапогах беровых. Тут на Зорьку ступор напал глаза распахивая, да и рот вместе с ними в одном движении, а по башке словно кто бревном оприходовал. Перед ней стоял не обычный мужик! Его лицо было чем-то вымазано чёрным с подтёками оттого казалось страшным до безобразия. Единственно что Зорька поняла, мужик был молод, судя по только что отрастающей бороде с усиками.

Ариец был вида здоровенного, широченный в плечах, да и сам весь какой-то с крупной кости сложенный, но видно не жиром заплыл, а весь из мяса свит слово вожак туровый. Лицо похитителя суровым сделалось, но глаза при этом смеялись хохотом. Зорька молча на него пялилась быстро по лику его глазками бегая, даже не думая о чём-либо спрашивать. Ей самой было не понятно потом почему она так старалась в тот момент голос не показывать.

Рыжий мужик наклонился над одуревшей ярицей, сцапал в ладонь волосы пучком охватывая, но не больно как в прошлый раз, а где-то даже ласково. Настойчиво наклонил голову, сунул её меж колен в подол. Второй рукой её руки выпростал, что в локтях за спиной были стянуты.

Зорьке как с крыльев путы скинули. Такая нега разлилась по телу с облегчением, что даже жжение всего переда содранного, отпустило боль да забылось на время короткое. Только захватчик и не думал выпускать на свободу птичку пойманную. Вновь связал ей руки, только в этот раз спереди за запястья тонкие. Она не сопротивлялась, даже не пытаясь противиться. Ей и в голову не приходило артачиться. Будто всё вот так и было изначально задумано.

Сделав дело своё, он выпрямился, отвернулся от Зорьки на него во всю глазевшую да отойдя на другую сторону, опять на борт упёрся даль разглядывая. А кутырка узрела на борту, что напротив был, перекинутую шкуру берову, башка коего в аккурат оказалась прямо перед ней на одном с лицом уровне. Зорька вздрогнула, ещё больше съёжилась да только тут настоящей почуяла боль жгучую всего тела изодранного.

Кони тронулись, и коробка затряслась на неровностях. И чем больше Зорька приходила в себя от ужаса пережитого, тем больней становились раны на теле истерзанном да так всё загло, что ярица закусила губу до привкуса солоноватого да глаза зажмурила только б не заорать голосом.

Дальше молча ехали. Нудно как-то пленницу потрясывая. Сначала девка похитителей разглядывала, но те постоянно к ней спиной стояли и со временем ей надоело это занятие. Стала степь рассматривать, что видна была позади через борт отсутствующий. Там за ними целая вереница таких же парных коней с похожими повозками ехали, только за собой тащили волокуши, гружённые барахлом награбленным. Наконец и это надоело ярице. Выбрав тогда позу поудобнее, чтоб не так было больно трястись на ухабинах с кочками она уставилась на облака далёкие.

Тут её взгляд привлекло море клевера красного, разрезая который их повозка двигалась, мерно шелестя по густым травяным зарослям. И стало вдруг грустно девоньке оттого что вспомнила, уж чего забыть не могла теперь, как всего не так много дней назад гуляла с девками Семик [54] на полнолуние...

Большухой на Семик, бабняк для девок Сладкую выделил. Бабу опытную, не вековуху, к слову, но и просто бабой назвать её как-то язык не поворачивался. Единственная да почи-тай самая любимая при Данухе ближница. Баба авторитетная во всех направлениях. С ней не забалуешь, да и не соскучишься. Матом стелет, как песнь выводит, можно заслушаться. Такие выкрутасы выдаёт с перлами, сама Дануха иной раз плюнет да не связывается.

К тому ж ручищи у неё были тяжеленные, да и с размахом никогда не задерживалась. Как что не так она уж их распустила во все стороны. Давая волю своим «махалкам» не раздумывая. А телесами так вообще Дануху переплонула. Жопа не объедешь, титьки ни титьки – два мешка с рыбой выловленной, чуть ли не до пупа висят, а на плечи не закидываются лишь оттого, что веса немереного, да объёма необхватного. Может быть, и до лобка бы отвисли, кабы не

пузо много складчатое. Чтоб до низа достать, им вокруг живота ещё раз в два растянуться требовалось.

Бабы Сладкую побаивались, ну, а девки так подавно кипятком писались. Особенно невестки с молодухами. Те вообще обделывались от ужаса, прости эту зверюгу Святая Троица. Зорька вспомнила, как в позапрошлый год атаман где-то невесту купил. Так при первом же знакомстве со Сладкой та девка от страха жуткого на себе все подолы обмочила с ляжками. Хорошо Дануха заступилась да за собой пригляд оставила, а то бы ближница её бедную довела до омута. А девка оказалась неплохая, в общем-то. Зорька с ней чуть ли не подружилась опосля этого. Вот это-то местное пугало и собрало кутырок на Семик, что в начале лета праздновали.

Поначалу все сильно трусили, как узнали кто большухой идёт. Особенно они четверо, что гуляли навыване да уж назначены были на будущее в бабняк молодухами. Зорька не была исключением. Ведь ей с подружками уж совсем скоро на седмицу Купальную [55] первых мужиков на себя принимать, становиться беременными, а знать под пригляд Сладкой идти. Тут никак не отвертеться.

Сколько помнила Зорька эти праздники, раньше эта баба грозная никогда на Семик в большухах не хаживала. Зачем в этот раз вызвалась? Кто её знает, что баба удумала, но Зорька для себя порешила тогда, что к этой бабище как-то подход искать надобно. Как-то понравиться что ли, приблизиться, чтоб та не лютовала над ней два лета последующих. Одно лето пока ребёночка вынашивает, да второе пока растит да выкармливает, чтоб в бабы косы подрезали да в бабняк приняли.

Но понимала она и то, что коли испортит с ней отношения то конец наступит её существованию. Зорьке можно будет топиться в омуте, не дожидаясь Купального праздника. Жизни всё равно не будет, не даст Сладкая, не отпустит её на тот свет своею дорогою.

Перепуганная с начала самого, она лихорадочно принялась вспоминать обряды нужные да ритуалы праздника, чтоб не опозориться да ни сконфузиться. Но, как и всегда бывает в таких случаях со страха забыла всё. Напрочь. Как отрезало. И Семик начался у Зорьки с того, что рыдала она в истерике в своём углу сеном застеленным, пока посикухи за мамой не сбегали да ни напугали её своими воплями малопонятными.

Та, прибежала, бросив все дела да застрекотала, как сорока над птенчиком, тряся Зорьку бедную за плечи хрупкие. А как узнала в чём дело, так хохотала до слёз с покатами, а отсмеявшись, выдала:

– Дура ты, Зорька, бестолковая. Ни чё она баба не страшная. Просто Сладкая с виду ершистая, а внутри она даже добрая, да и вовсе она не злопамятна. Не трясись ты дурёха да перестань реветь. Вот чужие пусть боятся её зверства лютого. За своих детёнышей порвёт любого на полоски драные, а вас малявок ни то, что не тронет, наоборот станет облизывать. Ещё нахлебаетесь её слюней по самое «не хочу» к концу праздника.

Тирана эта не особо Зорьку успокоила, но реветь всё же перестала до поры до времени. Да и мама права оказалась, что не говори. Всю седмицу Сладкая крикала над ними как утка над утятами, и даже её мат витиеватый забористый, да вечные затрешины с поджопниками воспринимались в конце седмицы праздничной как нечто родное да душевное. Хотя поначалу была грозная, стараясь нет-нет да сердитой сделаться, что у неё потом не очень получалось, как ни зверствовала.

Собрала она девчат у реки на площади. Злобно зыркнула из-под бровей мохнатых, что кустами пушились раскидистыми, но увидев на лицах неподдельный страх, а кой у кого и блеск слезинок на щёчках пухленьких, как-то в раз обмякла, подобрев к подрастающему поколению.

– Значит так, убогие, – начала втолковывать она инструктаж девкам перепуганным, перед ней как по струночке тянувшихся, – никаких чё б пацанов духу не было.

Вообще-то запрета прямого бывать на девичьих праздниках для пацанов как такового не было. Даже были такие, куда их звали сознательно и без них там было уж совсем никак. Были

и такие куда не звали, но они сами являлись без приглашения и без них те праздники были бы не праздники. Но вот на Семик, ватажных не только никогда не звали, но и хоронились насколько возможно было, потому что на эти дни они были не нужны безоговорочно. Это было девичье таинство.

Но пацаны пройдохи из кожи лезли вон, чтоб узнать, где девки гулять станут эти дни заповедные да во-чтобы-то не-стало старались подмазаться к празднику. Коль ватага находила их пристанище скрытое, а те оказывали активное сопротивление с непременным гоненьем с побоями, то упорно старались мешать таинству, несмотря на то, что иногда доставалось повзрослому. Били-то чем попало, куда попало да со всей дури девичьей.

Коли же на них гуляющие плевали с берёзы раскидистой да не обращали никакого внимания, то и пацаны по выделяваясь для собственного самоуважения, тихонько в сторонке пристраивались да были лишь простыми наблюдателями, находясь на этом празднике в роли тех же берёз, что вокруг росли. Интересы в этом было мало, почитай вообще не было.

Девятка, как атаман ватажный, был уже без двух лун как мужик артельный, потому ватагу за девками подглядывать он не повёл в принципе и не собирался изначально им портить праздник девичий. Авторитет атамана не позволял заниматься хреню всякою. Так что Сладкая зря шифроваться девок заставила, хотя излишняя таинственность, в прочем, не помешала праздничности, наоборот, добавила мурашек на спины девонек с самого начала ритуального действия.

Рано поутру, лишь стало светать да за рекой заря зародилась красная, из разных щелей на площадь общую стали выползать украдкой фигурки девичьи, теребя в руках узелки маленькие. По одной, по две тихо-тихо на цыпочках, собирались у реки, где их ждала Сладкая. Она на чём-то сидела у самой воды, но на чём, из-за её размеров видно не было.

Девки сбивались в кучки да о чём-то перешёптывались, и чем больше становилось их, тем щебетание становилось громче да явственнее.

– Цыц, – приструнила их баба грозная.

Все замолкли и замерли.

Зорьке помнится тогда было любопытно до крайности, на чём же там сидит эта туша необъятная, но даже когда Сладкая поднялась кряхтя, чтоб оглядеть собравшихся, из-за ширины её седалища Зорька так и не смогла рассмотреть, на чём там эта «жира» рассиживала. Хотя девка точно знала, что у воды в этом месте раньше ничего не было и сидеть там, соответственно, было не на чем.

– Всё, – сказала тихо Сладкая, – более никого не ждём. Кто проспал, пусть спит далее.

Девки суетно за озирались, высматривая кого нет, да кто проспал, а затем двинулись за грузно шагающей большухой девичьей вдоль реки по тропе натопанной и Зорька, так и забыла посмотреть на чём же там сидела бабища грозная.

Не успели они дойти ещё до Столба Чурова, [56] как сзади послышался топот да два жалких девичьих голоса запищали в разнбой:

– Подождите нас.

Большуха резко встала, словно в дерево врезалась, развернулась и приняла вид устрашающий. Чуть-чуть сгорбилась да надулась будто. Хотя, казалось, куда ещё надуваться с её-то комплекцией. Руки полукругом словно лапы у бера скрючила. Глазки сузила. Остатки зубов оскалила. Жуть кромешная.

Все, кто шёл за ней в стороны кинулись, а прямо на Сладкую две сестрички выскочили, дочурки бабы Бабалы, Лизунька да Одуванька, бедные. Девчонята погодки девяти да десяти лет отроду. Добежав до чудища бабьего, вытаращив глазёнки круглые да запыхавшись от бега быстрого, они что-то хотели сказать в своё оправдание, но не успели горемычные. Сладкая резко, не говоря ни слова в их обвинение, одной справа в ухо, второй слева заехала. Обе отле-

тели в разные стороны. Одна в кусты, задрав ноги к небу из подолов торчащие, другая в камыш речной, словно крупная рыбина булькнула.

– Цыц, я сказала, – прошипело толстозадое чудовище, – только вякните мне ещё, мелко-жопы. От кого голос ещё услышу ***, голосажку выдерну, в жопу затолкаю да там поворочу, чё б застряла на век.

На тех словах она наглядно показывала безразмерной ручищей, как она это сделает. Девки и так молчавшие от греха подальше всю дорогу недолгую, от такой картинки доходчивой не только языки проглотили, но и головы в плечи попрятали.

Начало праздника было многообещающим и Зорька, как не настраивала себя на лад с этой жирной зверюгой, тем не менее страха натерпелась столько, что не могла себя заставить даже рядом идти, как одна из старших девок, а пряталась в общей толпе среди мелочи.

Наконец прошагав за Сладкой, в раскорячку топающей вдоль берега довольно неблизкое расстояние, уж солнце из земли вылезло, они остановились на поляне у берега, где река делала заводь потаённую, а над этой заводью прямо в воду опускала свои ветви ракита старая. Вокруг лесок берёзовый, светлый без травы высокой да кустов разросшихся. Большуха постояла молча, оглядываясь и наконец кивнула, не то здороваясь с кем-то, не то соглашаясь сама с собой.

– Всё. Дотопали, – гаркнула она неожиданно, да так что пичуги с дерева ближайшего рванули стайкой в лес подальше по добру по здоровому, – седайте у берёз по краю поляны да готовьтесь к своей кончине неминуемой.

Сладкая, с видом свиньи обожравшейся теребя свои «мешки с рыбою» с трудом от пуза отлепляя да проветривая, расплылась в улыбке хищника безжалостного, продолжая девок запугивать. А те, не обращая на неё внимания кинулись в рассыпную занимать места поудобнее.

Не сговариваясь, все сгруппировались кучками отдельными по возрастам, естественно. Все четыре ярицы во главе с Зорькой-предводительницей, устроились у старой берёзы с ветвями корявыми, что росла недалеко от той ракиты раскидистой. Только тут Зорька осмотрелась вокруг. Странно стало ей. Вроде бы как земли местные вдоль да поперёк излазила, а этого места не припомнит. Она явно была впервые здесь.

Заводь тихая, не проточная, в воде угадывалось лишь слабое круговое движение, притом вода двигалась как бы вся, одновременно по всему кругу заводи. Зорька смотрела на гладь воды плавно крутящую как загипнотизированная, будто всем телом, всеми внутренностями почуяла нечто такое, что выходило за рамки естественного.

Словно озарение посетило её голову. Пришло осознание того, что в этой заводии чудной как раз и должны обитать те полужити, ради коих они собрались праздновать – Речные Девы, [57] настоящие. Вот как-пить-дать в этом месте, да не в каком другом должны были жить эти речные красавицы. И вода здесь колдовская, да и ракита вон точно, как мама в детстве сказки сказывала да даже берёза эта где сидела, была не обычная. Листики на ней совсем маленькие, молоденькие, светлые и от того берёза старая вся корявая да несуразная покрывалась неким свечением загадочным, будто сияла изнутри зеленью.

«Так вот он какой, зелёный шум!» – подумала девка, да задрав голову принялась разглядывать этот нежный туман молодой зелени.

С глазами распахнутыми да открытым ртом она замерла и не заметила, как к ней подковыляла Сладкая да не громко буркнула:

– Рот закрой, а то мухи насерут хлебало полное, не побрезгут.

Зорька аж вздрогнула от неожиданности и захлопнув рот с зубным цоканьем, непонимающе уставилась на большуху противную. Та стояла перед ней широко раскидав ноги в стороны да уперев руки в боки, где-то под грудями теряющиеся.

– Чё сидим, мелкожопые? – вопрошала баба издевательски, – чё ждём ***? А готовиться за вас я чё ли буду? Почему волосы ещё в косе? Сидим тут, словно жабы говноедок ловим языками липкими.

И с этими словами «душевными» она двинулась дальше вдоль берёз, подходя к каждой группе девок щебечущих, да в издевательстве подзуживая каждую. Никого не пропустила. На каждой отвела душу мерзкую.

Зорька мигом с небес спустилась на землю грешную. Шкурную безрукавку скинула, верхнюю рубаху с поясом то ж долой, косу расплела, свою копну рыжую растребушила пальцами, по плечам раскинула. Развязала узелок. Яйца печёные, солонины кусок. Отдельно свёрнуты в лист лопуха тоненькие волосяные верёвочки, плетённые жгутом да в разный цвет окрашенные. Всё. Приготовилась. Стала ждать первого действия – девичьего кумления. [58]

Оно было почитай таким же, как у баб с молодухами, что на Сороки [59] устраивали. Только коли бабы порождали Ку [60] Матушку, то девки сей процесс колдовской просто имитировали, путём порождения некой Кукуши-девоньки. [61] Силы в ней никакой не было в отличие от бабей Ку, но она и не требовалась, так как Семик был праздник-обучение. Всё в нём было как у баб на Сороках только как бы не по-настоящему. На Сороках куманились все-рьёз, но учить там было некому, да и некогда. К нему уже полагалось знать всё что положено, уметь да быть готовой полностью. Вот в этой подготовке и состоял весь Семик девичий.

Было ещё одно отличие. На Сороках большуха куклу, [62] то есть, то куда Ку закладывали, делала всегда по-разному. Почему? Да кто её знает? Поди разбери. Лишь большуха и знала, как на эти роды куклу делать полагается. Когда из глины смоченной слюной каждой бабы по кусочку во рту жёванной, когда смачивала кусочки глины у баб в другом отверстии, когда только из их волос, тут же на карагоде у каждой надёрганных. Иногда волосики щипала из бородки лобковой с болезненными «ойками». В общем, по-разному, в разных интерпретациях да в разных последовательностях. Лишь большуха знала у кого где выдрать да у кого где намочить надобно. А бывало, и до пуска крови доходило, правда, обходились лишь на руках порезами.

А у девок это делалось всегда одинаково. Кукла у них была травяная, не телесная. Никаких человеческих вложений в неё не делали, никакой силой общности эта полужить не надеялась. Зорька всё это знала прекрасно, не первый год семитует как никак, но на этот раз большуха удивила их своим поведением. Хотя ярица и ждала от Сладкой, подвоха какого-нибудь.

Она как-то быстро успокоилась, расчёсывая лохмы пальцами словно граблями огородными да сама, не ожидая от себя запела песню на сбор да плетение венков праздничных. При этом её несколько не покорило то обстоятельство, что она без веления большухи захватила лидерство. Это получилось, как бы само собой, будто так и должно было быть по определению. Сладкая, до этого с грозным видом нерадивых девок чихвостившая, вдруг перестала шипеть, обмякла да повернувшись к Зорьке расцвела в улыбке по-доброму.

Зорька встала, продолжая петь да начала собирать для венка цветы с травами. Тут же песню подхватили остальные девоньки, и вот уже нестройный хор в свободном хождении да в таком же свободном «песне излиянии» расползся по поляне да по лесу светлому к нему прилегающему.

Песнь короткой была да всякий раз как заканчивалась, начиналась заново. Её повторяли аж несколько десятков раз, до оскомины, пока все не собрались под своими деревьями да не закончили с плетением веночков с цветочками. Те, кто заканчивал плести, и петь заканчивал. А как песнь постепенно утихла, на поляну вышла Сладкая. Действо началось колдовское, умы девичьи захватывающее.

Откуда-то у неё в руках появилась миска с молоком. Зорька готова была об заклад биться, что Сладкая ничего с собой не принесла. Она бы увидела. Баба пришла сюда пустая, налегке. Откуда взялась эта миска деревянная? Да ещё и молоком наполненная.

Большуха праздника, как и девки то ж опростоволосилась, расплела обе свои бабы косички жидкие, скинула шкуру, рубаху верхнюю да босиком выйдя в центр поляны начала что-то себе под нос выговаривать, постоянно кланяясь так низко, на сколь позволяло её телосложение, вернее жиротложение. Зорька ничего не разбирала в её говоре, только поняла, что большуха к Матери Сырой Земле обращается. Толи с просьбой какой о разрешении, толи славя её да благодарствуя.

Наконец плеснув на землю молока, склонилась с глазами закрытыми, да стояла долго так, будто ожидая знака какого-то иль ещё чего, Зорька не ведала. Через какое-то время, постояв так согнутой, Сладкая ещё раз резко поклонилась да выпрямилась, принимаясь водить носом что-то вынюхивая. Нанюхала, определилась, развернулась в том направлении. Как Зорька решила туда, откуда ветер дул, хотя он абсолютно не чувствовался и как баба его носом унюхала ярице не понятно было.

Большуха задрав голову к небу синему опять начала что-то бубнить да себе под нос выговаривать. Зорька поняла из этого, что она обращается теперь к Отцу Неба, Валу Всесильному. Зачерпнув из миски молоко своей ладонью-лопатою, Сладкая на отмажь его разбрызгала да опять поклонилась на сколь пузо позволило.

Затем пошла к воде, где проделала то же самое да остатки молока в заводь вылила. И запела... Зорька аж рот приоткрыла от удивления. Голос у бабы оказался столь красивый да чистый, что заслушаться можно было. Чего-чего, а такого от Сладкой явно не ожидал никто. Зорька поймала себя на мысли, что никогда раньше не слышала, как поёт Сладкая.

Песнь её была торжественная, как и положено было «сборной» быть. Этой песней большуха начала собирать карагод девичий. В ней не было постоянных слов, не было ни рифмы, ни размера единого. Большуха пела обо всём, что сама делала, да что делалось вокруг неё. Вернувшись в центр поляны, о чём тут же пропела, начала по очереди персонально вызывать девонек. Притом в отличие от бабьего карагода на Сороках, на Семик почему-то вызывали не по старшинству да близости к большухе, а наоборот, как раз. Начала Сладкая с самых маленьких, а закончила ярицами, притом Зорька оказалась самой крайней из всех.

Когда вызванная девка подходила к большухе, неся в руках свой венок вязаный, Сладкая отщипывала от него стеблей несколько, да одев венок на голову подошедшей целовала её в губы мелкие, при этом обо всём продолжала петь да в песне рассказывать. Затем отводила кутырку на место определённое, и оставив её там, принималась за следующую.

Когда очередь дошла до Зорьки ожидающей, круг почитай был собран полностью. Девчонята с венками на головах держались за руки да были поставлены таким образом, что рядом друг с другом стояли девки разного возраста. Её подруги ярицы были разбросаны по всему кругу, а для самой Зорьки оставалось лишь одно место единственное.

Она подошла к большухе. Вот тут-то её и ждал сюрприз. Сладкая, кроме травин из венка выданных, что подала Зорька с почтением, как-то внезапно рванула волосины рыжие из её роскошной копны растрёпанной. Зорька от неожиданности да боли вздрогнула, непонимающе на большуху вылупилась. Та мягко да подобному улыбнулась, подмигивая заговорщицки, да ввязала всё это в куклу тут же приготовляемую. Травины из венка с волосами закончили композицию. Опосля чего водрузила венок Зорьке на голову, крепко впила в губы девичьи, буквально засосав их в свои губищи пухлые, да отвела обалдевшую девку на место свободное.

Опосля поцелуя этого губы Зорькины гудели да пылали пожарищем, и ещё чувствовался на них какой-то привкус загадочный. Девка инстинктивно облизала их. Станный вкус. Неведомый.

Песнь дальше продолжилась, указывая, что делать и карагод девичий пришёл в движение. Разноголосый хор стал нестройно повторять за Сладкой слова заговора нехитрого.

Большуха довязала куклу, усадив её в чашку пустую, что стояла на земле посередке всех. Сделала она это встав на колени пухлые, что при её габаритах стоило бабе усилий неимо-

верных со старанием. Особенно тяжело было ей потом подниматься с них, но при этом петь она не перестала, хотя в тот момент бабий голос скорее напоминал нечто среднее между скрежетом да стоном страдальческим. Но всё же поднявшись с отдышкой, опять запела чисто, самозабвенно, неистово. Обряд кумления продолжился.

Сначала Зорька заикнулась на том вкусе непонятном, что оставила ей на губах Сладкая. Что-то совсем незнакомое, вместе с тем на что похожее, но на что хоть убей не помнила. Машинально повторяла всё, о чём большуха пела торжественно. И в один прекрасный момент вдруг заметила, что голос неприятно завибрировал где-то внутри головы под черепом, отчего та начала кружиться да в висках побаливать.

К этому ощущению неприятному, тошнота добавилась да живот закрутило болезненно. По всему телу прошла волна онемения. Началась где-то внутри и на кончиках пальцев рук кончилась. С этим все неприятные ощущения отпустили ярицу. Голова уже не болела, а кружилась в лёгком опьянении. Краски стали ярче, насыщенней. В голове появилось странное чувство не то раздвоенности, не то даже «растроенности». Так сразу словами и не выразишь. Будто внутри неё сидели люди разные да сами с собой разговаривали. И в общей каше не понятно было сколько их там сидит, и кто о чём думает. Она лишь смогла определить, что это были девы, притом разные.

Затем они начали менять друг друга, выходя на первый план по очереди, то полностью, то лишь частями вылезали. Потом начали переливаться друг в друга. В голове творился полный кавардак. Ни на чём не удавалось сосредоточиться. Зорька даже петь перестала, потому что не могла уже, язык не слушался. Она вообще ничего понять не могла. Её взор затуманенный, воспринимавший всё исключительно в ярких, но размытых пятнах, блуждал по траве, по которой с трудом продолжала вышагивать. Да коли б не держали за руки да не вели насильственно, давно бы уже рухнула.

Взор то перескакивал на «зелёный шум» лесной, то на ясную до рези в глазах синеву неба далёкого. Наконец её взгляд блуждающий, мазнул по стороне противоположной и в пятнах девок размазанных, что напротив ходил, абсолютно чётко проступила фигура Елейки, её подруги, одной из яриц навывдане.

Та не то с ужасом, не то с высшей степенью удивления смотрела на неё в упор словно не на подругу лучшую, а в первый раз голого мужика увидела. И тут с Зорькой произошло нечто вообще неопишное. Она вдруг отчётливо почувствовала подругу, притом где-то внутри себя. Верней ей показалось, что она и есть Елейка худосочная!

Зорька даже с перепуга хотела за груди схватиться собственные, потому что точно почувяла, что те другими стали, вернее вовсе пропали, как у Елейки, плоской от рождения. Но руки сцепленные, не дали ей проделать этого унижительного жеста панического. Тут ей передалось и Елейкина взволнованность, и такое же непонимание происходящего, только как-то по-другому, по Елейкиному.

Зорька посмотрела направо, будто кто позвал, да в мути круга девичьего увидела Краснушку резко проявившуюся, свою вторую подругу хорошую да точно так же её почувствовала. Та растеряно лыбилась, Зорька тут же улыбнулась в ответ. Только теперь поняла она, что в ней проснулась сила единения самой Ку – Матушки. Это Сладкая, вплета их волосы выданные, в куклу вязаную, сделала так, что их четверых накрыло единение, какая-то общность сознания да общность чувств человеческих. Состояние это было настолько необычное, что от эйфории у Зорьки аж дух захватило, а радость так и пёрла наружу её не спрашивая.

Ярица налево метнула взгляд, где стояла подруга четвёртая – Малхушка-жирная, и та цвела улыбкой растерянной. Лишь у неё от эмоций перехлёстывающих, ещё и слёзы в глазах заблестели блёстками. Зорька её восторг почувствовала да у самой глаза на мокром месте сделались.

Раздался хлопок в ладоши. Громкий. Звонкий. От чего это марево рассеялось да девки пришли в себя полностью. Круга уже не было, а все кутырки к воде кинулись, где толпились у прохода камышового, а на поляне стояли лишь они четверо, да чуть поодаль стояла Сладкая довольная до безобразия.

– Ну, чё, мелкожопые, прочуяли силу бабьего единения? – хитро спросила она у девок ошарашенных.

Но ярицы словно бревном прибитые, всё ещё не отойдя от шока ощущений невиданных, ничего не ответили, лишь обернулись на голос жадно на большуху уставившись, будто видели в первый раз это недоразумение.

Сладкая, как оказалось, тоже вплела частичку себя в эту куклу плетёную и потому они не просто её видели, а также почуяли весь мир этой бабы бывалой многоликий да многоопытный. Всю доброту её огромную да ласку безмерную под оболочкой страшилки «вреднопакостной». Всю её любовь безмерную ко всем малым детям без исключения, всю её тонкость да хрупкость души, в массивном да безобразном туловище упрятанной.

Зорьке вдруг во что бы то ни стало захотелось подбежать к ней да прижаться крепко-крепко, и она не стала себя сдерживать, рванула да повисла на могучей руке «чудовища». Ещё миг и Сладкую облепили с разных сторон подруги её по кумлению.

– Ну, ладноть, будя, – булькала баба растроганная, не очень настойчиво стараясь от прилипших к ней девонек избавиться, и они почувствовали, что проявление любви спонтанной ей очень нравится.

Сладкая ещё немного понежилась, по умилялась их лаской открытой, да не поддельно естественной, а как почуяла к горлу слёзы подкатывающие, вдруг резко встряхнулась да какой-то силой внутренней в раз девок настроила на рабочий лад.

– Так, девоньки. У нас тут дел – полная помойка недоеденная. Вон молодняка сколь беспризорного побросали. Того и гляди подерутся да перетопят друг дружку, засыхи кривоногие.

У воды действительно творилось невообразимое. Подход к заводу был узкий, заросший с двух сторон камышом густым и у этой водной тропы куча-мала барахталась, с визгом да криками. Толкаясь и пихаясь, каждая норовила вперёд вылезти. Вот раздался плюх с травяным шелестом. Кого-то напор девичий окунул с головой в камыш прибрежный, опосля чего над поляной раздался рёв обиженный, нерасторопной девоньки.

– А ну стоять! – взревела Сладкая турицей раненной.

Все четыре ярицы, как по команде рванули к клубку тел девичьих, хитро сплетённых руками да ногами зацепленными, да шустро начали растаскивать эту кучу-малу, выдёргивая по одной обратно на поляну твёрдую.

– Мозги вышибу, у кого найду! – продолжала орать Сладкая взбешённая, грузно ковыляя к примолкшим кутыркам вздрогнувшим, – а ну, встали в очередь, засранки вичконогие. Всех Речных Дев распугаете, горлопанки поносные.

Девчонята всё ещё толкаясь да попискивая, тем не менее образовали что-то похожее на очередь, и большуха по одной выстраивала их в одну линию тычками да затрепинами.

И тут произошло диво-дивное. Одно из тех событий жизненных, что остаётся неизгладимым следом на всю жизнь оставшуюся. В центре заводи вода кругами пошла, да появилось любопытное личико рыжее. Увидев вереницу девок мелких, пищавших да щебечущих меж собой без усталости, лицо речной красавицы расцвело в улыбке елейной обворожительной, словно свет от неё заструился приятной мягкости. И тут же Дева в раз из воды по пояс вынырнула, словно поплавок при поклёвке рыбой отпущенный.

Одеяние на ней было волшебное, неопишимо лёгкое, прозрачное. Полужить была в тончайшей рубаше, плотно тело её стройное облегающей, сотканное не то из света лунного, не то из кристально чистой воды, но при этом изнутри подсвеченной. Покров её хоть и казался прозрачным, но источая непонятное свечение холодное, создавал туманное замутнение.

Это была сама Дева Речная! Настоящая! Молодая да прекрасная ликом на загляденье. У Зорьки разом дыхание перехватило от восторга картинки увиденной, и она упала перед ней на колени в мокрый ил прибрежный взбаламученный. Сладкая уже стояла на своих коленных тумбах да кланялась, то и дело плюхаясь руками в жижу да что-то щебеча под нос да горлом булькая.

Зорька не слышала, что говорит большуха, но ей этого и не требовалось. Она всё прекрасно чувствовала и осознавала в мельчайших подробностях. Баба благодарствовала Речной Деве за явление, а та, продолжая радоваться кутерьме девичей, расцветая колдовской улыбкой на обворожительном личике медленно выплывала к берегу.

Её рыжие длинные волосы, где-то в глубине водной глади прятались. Какой длины они были, неведомо. Несмотря на то, что Дева вышла уж из воды настолько, что показались её ноги ровные, прикрытые тканью призрачной, волос по-прежнему уходил вглубь реки, притом медленно да плавно шевелился, словно колыхаясь на ветру, но ветра-то никакого не было.

Волосы Речной Девы были живыми, притом живыми по-настоящему и жили сами по себе, как мама в сказках и сказывала. Только тут Зорька мельком осмотревшись поняла, что Деву малышня не видит совсем. Её лицезрят лишь они – закуманенные. А вот Речная Дева наоборот, казалось их не замечая, только девчат видела, топчущихся да галдящих в очереди.

Неожиданно за её спиной показалась ещё одна, за ней ещё и ещё. Вскоре Девы Речные заполнили собой всю заводь тихую да ни одна на другую, лицом не была похожая. Они были все разные, узнаваемые, каждая со своими чертами и все удивительно красивые одна прекрасней другой на загляденье. Девы начали между собой переговариваться, явно в голос смеясь, но ни звука от них слышно не было.

Большуха всё кланялась да причитала. Девки в очереди нетерпеливо ёрзали, но без команды Сладкой к воде больше не лезли. Побоялись.

Речная Дева, та что вышла вперёд, подошла почитай к самому берегу, где воды ей было по щиколотку и по колыханию прозрачной рубахи, что по-прежнему в воду спускалась, Зорька поняла, что Дева все-таки не плыла, а шла, мелко перебирая ножками. Полужить колдовская остановилась да протянула руку к девчонке стоявшей ближайшей в очереди.

Сладкая встрепенулась будто кто ей скомандовал, да не поднимаясь с колен, в пол-оборота, как смогла, повернулась к девонькам. Погладила рядом по спине стоящую да ласково тихим голосом проговорила:

– Иди. Только осторожна будь, – и уже в спину входящей в воду кутырке самой маленькой напряжённо добавила, – опусти свой веночек да вертайся тихонечко. Речная Дева прям пред тобой стоит да на тебя смотрит пристально.

Девчонюшка по кличке Желтявонька, семи лет отроду, до этого уверенно шлёпавшая меж камыша вытоптанного, высоко задирая свои ноженьки кривые да худющие, вдруг вздрогнула да за озиралась по сторонам пристально. Но ничего не заметив приметного движение вперёд продолжила, но уже с опаской настороженной. Станный для девки голос большухи сделал своё дело пугливое. Зайдя в воду по калено, она сняла с головы веночек приготовленный, пустила на воду да легонько толкнула, отправляя в плавание.

Речная Дева стояла совсем рядом с ней и улыбалась, провожая веночек взглядом радостным. Кольцо из трав да цветов сплетённое медленно дрейфовало вдоль берега. Девчонюха поклонилась, как положено и о чём-то тихо попросила полужить. Речная Дева явно её услышала, потому что плавно перевела взгляд на кутырку просящую и кивнула утвердительно, продолжая мило лыбиться.

Желтявонька, не видя Девы перед собой, ещё раз пробежала взглядом по водной глади в поисках чего-нибудь необычного и спокойно держа руки в стороны для равновесия, пошлёпала обратно. Очередь двинулась.

С каждой последующей просительницей, опускающей свой веночек перед Девой, происходило примерно то же самое. Только когда в воду вошла первая из яриц, а то была Краснушка-долговязая, картина изменилась несколько. Когда кутырка веночек опустила на воду, да смотря в глаза водные Речной Девы – красавицы, стала о чём-то просить шёпотом, Дева не кивнула ей как остальным делала, а заговорила губами двигая. Но, несмотря на то, что губы её шевелились, а Зорька стояла совсем близко от них, тишина стояла полная. Но по ощущениям, что рыжая получила от подруги за счёт кумления, та прекрасно её слышала и то, что слышала, Краснушку не радовало. Какое-то беспокойство забилося внутри её.

Речная Дева не просто знала судьбу всякого, а являясь вот таким образом могла изменить или исправить предначертанное, перечертить всё будущее человека в принципе. Беспокойство, что получила от Краснушки, переросло мгновенно в страх, но уже собственный. Что-то Дева скажет ей, как-то её судьбу изменит и изменит ли?

Примерно то же самое произошло и с Елейкой, и Малхушкой жирною. Наконец и до Зорьки дошла очередь, последней из всего этого балагана девичьего. Ноги подкашивались, не слушались, будто травой набитые. Руки тряслись, но коснувшись ступнями вод прохладных, поняла, что не только руки трясутся, трясушка колотила тело от макушки до самых пяточек.

Вошла в воду настороженно, не спуская глаз с лица полужити. Как замороженная подошла к ней вплотную. Беспокойство волной нахлынуло и снаружи, и изнутри, заколыхалось в гулком биении сердца захлёбывающегося. Дыхание сбилось. Зорька даже рот открыла, глотая воздух недостающий всё больше и больше, да лишь когда в глазах очертания Девы поплыли да образ её стал расплываться в слезе выступившей, Зорька выдохнула.

Как оказалось, она всё это время только вдыхала до предела наполняя лёгкие. Опосля того как выдохнула, Зорька очнулась от наваждения и взяла себя в руки крепкие. Рыжая сразу вспомнила все, что делать надобно да от осознания этого постепенно начала успокаиваться.

Опустив глаза на воду чистую, её отпустило окончательно, будто оторвав взор от лица заволаживающего да сверкающих блеском ледяным кристаллов водяных, глаз Речной красавицы, она прервала жуткой силы давление на своё бедное сознание.

Зорька сняла веночек с головы да медленно поклонившись, опустила на воду. Только подталкивать не стала. Тот и сам поплыл. У неё в голове вдруг отчётливо прозвенела мысль безрадостная, «будь-что-будет», от чего остатки страха неизвестности сдуло, словно дым свежим ветерком утренним. Зорька спокойно выпрямилась да уже без паники да каких-либо признаков беспокойства мучительного, прямо да не мигая уставилась в глаза Девы, что блеском заволаживали.

Только теперь заметила, что лик речной красавицы преобразился до неузнаваемости. Она не улыбалась более. Полужить перед ней стоящая была серьёзная, но не злая, как могло показаться с взгляда первого. Она просто стала какой-то монументальной, торжественной. Дева улыбалась с того момента самого как показалась из воды и улыбалась всем на протяжении всего обряда девичьего, а теперь улыбка с её лица исчезла будто не было. Зорька не успела осознать перемены разительной да тем более встревожиться или напугаться осознано, так как Дева заговорила нежным, мягким, журчащим голосом:

– Не проси меня ни о чём, Заря Утренняя. Я бы рада тебе помочь, да не могу, не в силах я. Твоя судьба особенная и будущее предначертано осознано и нам запрещено менять суть его. Да и не будет из нас никто делать этого, ибо понимаем мы, что именно так нужно для дела нашего.

При этих словах Дева взор потупила, кристаллы глаз её помутнели и весь вид её показывал, как ей жаль, что не может поменять что-то страшное в судьбе Зорькиной и за это просит прощения. Её живые волосы рыжие пришли в волнение жуткое. За извивались да полезли Деве на лик чистый, обворожительный. Она мягким, но уверенным движением расчесала их пальцами тоненькими, от чего капли воды с них мелкими брызгами разлетелись в разные стороны.

Часть из них попала Зорьке на лицо пылающее, но девка даже не дёрнулась, продолжая стоять истуканом вкопанным, не понимая, толи радоваться от того, что у неё судьба особая, толи тут же плюхнуться в воду да утопиться с горя великого. Речная Дева востепенулась, протянула руки свои прозрачные да взяла Зорьку за плечи хрупкие, от чего рубаха ярицы моментально вымокла, но неприятных ощущений от этого она не почувствовала. Дева, тем временем смотря Зорьке в глаза округлившиеся, уверенным, волевым тоном добавила:

– Ты станешь началом конца времени прежнего да положишь конец его полному разрушению, не дав миру нашему рухнуть в небытие забвения. Только ты это сможешь сделать и ни у кого кроме тебя не получится. Будет больно, нестерпимо больно во времени, но я верю, ты справишься. Ты сильная.

С этими словами полужить притянула Зорьку к себе, лишь не понятно, как руки из воды сотканые смогли проделать подобное, да в буквальном смысле утопила девку в своих объятиях. Зорька от неожиданности зажмурилась, входя в тёплую да приятную стихию водную, да чудом успела затаить дыхание, чтобы не хлебнуть воды в лёгкие. Но омываемая нежным объятием умиротворяющего прикосновения чуда невиданного всё же позволила себе набрать в рот одеяния Речной Девы и даже успеть проглотить, тут же про себя порадовавшись, как ребёнок удачно нашкодивший, коего не поймали на озорстве да шалости. Вода оказалась как вода, чистая да вкусная. Речная Дева отпустила Зорьку да опять, как и раньше мило да ласково улыбнулась ей.

– Иди милая. Только живи, пожалуйста.

Но Зорька с места не тронулась, будто присосалась ко дну трясину. У неё вдруг не с того ни с чего потекли слёзы солёные, а Речная Дева отдалялась медленно, да печально улыбаясь девице, продолжала смотреть в глаза Зорькины. Ярице показалось, нет, она была просто уверена в том, что Дева, несмотря на улыбки подобие, тоже плачет слезами водными. Так и стояла Зорька, пока Дева Речная не отошла обратно в заводь, где вода достигла её пояса. Затем резко кувырнулась да нырнула в глубину, порождая на поверхности тихой заводи волну, расходящуюся кругом в разные стороны. А Зорька всё стояла да плакала, сама уж не зная, по какому поводу. Голова была пуста, без единого проблеска мысли хоть какой-нибудь.

Из пустоты её вырвала рука чья-то на плечо опустившаяся. Мокрая до кончиков волос, Зорька обернула лицо слезами залитое да увидела Сладкую не на шутку встревоженную, что тут же развернула её силой да прижала к грудям своим, как к подушкам пухом напичканным. И тут Зорька разрыдалась голосом. Невыносимая тяжесть рухнула с её хрупких плеч девичьих. Стало с одной стороны легко и свободно, а с другой нестерпимо жаль себя любимую.

Зорька смутно помнит то что происходило дальше на празднике. Как обедали, как собирались в обратный путь. Она начала приходить в себя лишь у самого баймака к вечеру. Никто не приставал к ней с расспросами, наоборот держались от неё отстранённо, даже как бы побаиваясь.

Только потом Зорька узнала, что все просто с ума сходили от любопытства съедаемого, но «жирное страшилище» строго-настрого запретила девкам не то что спрашивать, близко к Зорьке подходить да серьёзность сказанного подкрепляла затрещинами да словами крепкими.

Краснушку даже норовила пнуть ногой толстенной, но та оказалась «вертлявой ***», как Сладкая обозвала её матерно и увернулась от ноги бабы неповоротливой. Кстати сказать, именно этот эпизод с громким смехом девичьим да отборным матом большухи осерчавшей от промаха и вывел Зорьку из состояния прострации с оцепенением и вернул к обычной жизни девичьей...

10. Коль хочешь жить, то медицина бессильна тут. Только пьяному хирургу об этом молчок. Ему наплевать и на медицину, и на твои желания...

Ох, далеко далече в небе зорька разгорается... А Дануха всё сидела на травке склона высокого, чуток до верхотуры не докарабкавшись. Сидела сиднем, разведя колени в стороны, уронив меж ними руки усталые на пузо откормленное. Но лишь в сознании её одурманенном, блудившим где-то по завалам памяти, наконец созрело понимание, что именно перед собою видит, не моргая уставившись, то тут же вспомнила Зорьку-проказницу.

Эту, в общем-то, кутырку обычную, каких она в жизни повидала немерено. Живую непосредственность, что все бабы то и дело обзывали «оторвою». Да какая она оторва? Нормальная девка, как и многие. Только зря Нахуша, наверное, не послушал её просьб с доводами да оставил при родном баймаке на расплод. Глядишь, осталась бы целою.

Дануха знала о родовом проклятии этой крови баймака соседнего, где большухой некая Хавка хаживала, да прости Святая Троица это отродье рода бабьего. Та из-за напасти этой свою родную дочь, маму Зорькину продала в них баймак за бесценок лишь бы избавиться.

С Хавкой-то они хоть подругами и не были, но регулярно виделись. Их сводили вместе интересы бабняцкие в большей степени, чем чисто бабские. Встретившись, они вечно меж собой подтрунивали, «обчёсывая» друг дружку языками колкими, но обиды никогда не затаивали, но и любви меж ними особой не было. Так, хорошие знакомые. Притом очень хорошие и очень давние.

Получилось так, что одновременно стали большухами каждая в своём бабняке лишь с малой разницей в одно лето по времени. Притом на лето раньше стала Хавка, ведьма старая. Поэтому в знакомство первое, это «чучело высушенное» надув щёки для пущей важности учила уму разуму «зассыху малолетнюю».

Дануха поначалу обманулась даже, признав в ней бабу матёрую, но быстро раскусила самозванку худосочную. Вот так они всю жизнь и общались встретившись, обнимались да зубоскалили. Хавка надменно эдак свысока больше придуриваясь, чем по-настоящему, а Дануха «клала на её авторитет большой да толстый» не заморачиваясь. Но надо признать, что общение меж ними всегда проходило без напряжения да с необременительной непринуждённостью. Хотя, разойдясь в разные стороны, каждая поносила собеседницу за глаза на-чём-свет-стоит, но также беззлобно да с улыбкой лёгкою.

Обе стали большухами будучи по меркам бабняков молодками, по крайней мере и та, и другая имели ещё детей на воспитании. И когда Хавка сплавляла дочь свою к Данухе в баймак Нахушинский, то по пьяни разболтала о проклятии их рода бабьего. Дануха как полагалось в эти рассказы не поверила, но, тем не менее в голове отложила для памяти. А когда Зорька по зиме заярилась, совет дала атаману твердолобому продать её подобра-по-здоровому, но тот упёрся как бычок с писюном застоявшимся и ни в какую не соглашался на её увещевания. Козёл старей, глаз на дитё положил, видите ли.

Да и Дануха, по правде сказать, не очень-то тогда настаивала. Уж больно самой захотелось посмотреть воочию, как мать с дочерью грызться начнут не на жизнь, а смерть лютую да насколько права была Хавка – вонючка старая, что оговаривала девку такими страшилками.

Вспомнила Дануха и последнюю Зорькину выходку, коих эта срань малолетняя в своей жизни непродолжительной целую кучу на выделявала. «Припахала» её как-то по весне на своём огороде с работами. Так эта дрянь подучила пацанов ватажных во главе с атаманчиком, ей дохлых сусликов да кротов натаскать мешок из-под рыбы кожаный. А она их на грядках прикопала, чтоб тухли там да воняли со временем. Но Воровайка, как собака-ищейка всех по выкопала да к порогу кута стаскала на входной тропе разбрасывая. Вот ещё дрянь одна, из всех дряней самая дрянная дрянь, а не птица пернатая.

Дануха встрепенулась. А где, кстати, Воровайка блудливая? Её нигде не было ни видно, ни слышно, что настораживало. И тут как по заказу раздался дикий сорочий треск встревоженный. Большуха задёргалась, заметалась сидя на траве задницей, зашарила руками по земле

в поисках клюки, но тут же вспомнила, что её внизу оставила, да поднималась уж с пустыми руками на гору высокую. Видимо бросила клюку у кута догорающего.

Тут нащупав камень наполовину в земле прикопанный она с силой его выцарапала да в ладонь примерила. Камень был размером с репу спелую, неровный, но увесистый. Такой далеко не кинешь, а в руке им махать, тяжеловато, не по её силушке. Но выбора другого не было. Больше вообще ничего вокруг не было окромя травы, торчащей пучками бугристыми.

Она, торопясь торопыгою, поднялась на ноженьки толстые да развернулась в ту сторону, откуда доносилось стрекотанье неистовое, Воровайки до смерти перепуганной. Вглядываясь в направлении ора птичьего, Дануха наконец её заприметила. Та шустро металась в воздухе, кружась у самой земли низёхонько, но совсем низко не опускалась постоянно вверх взбрыкивая.

Сорока не нападала. Она кого-то страшила своим вихлянием, а не нападала оттого, что сама была перепугана. Дануха её как саму себя знала да всеми её выкрутасами ведала, во всех жизненных ситуациях. Кого так неприветливо сопровождала Воровайка, Дануха не видела. Мешал бугор впереди да трава наверху высокая, но тот, кого сорока гнобила шёл напрямик в её сторону.

Первое что в голову скакнуло – испуг объял её не-пойми-перед-чем неведомым. Она лишь переложила камень в руке, схватив его поудобнее. Бежать по любому не собиралась. Некуда. Осмотрела ещё раз место, где стояла растопырившись, с прищуром вглядываясь в пучки травы топорщившейся, да пытаюсь найти, ну хоть что-нибудь убойное. Палку какую, иль нечто в этом роде. Но ничего не приметила.

Тогда резко наклонилась да пучок травы вырвала с комком земли на корневище разросшемся. Только от такого оружия в драке пользы не было, коли только в рожу кинуть да землёй глаза запорошить, а там и «каменюкой» приложить пока враг опешит сослепу.

Она ожидала видеть кого угодно во врагах неожиданных, но лишь не того, кто высунулся. Раздвинув траву высокую, на холм прямо пред ней, всего в шагах девяти не более вылез здоровенный волк вида старого. Он огромен был словно тур откормленный, по крайней мере, Данухе так показалось с взгляда первого.

Зверь непрерывно скалился, вертя мордой огромною, то и дело зубищами клацая в попытках поймать сороку приставучую. У бабы сердце в пятки рухнуло, гулко шмякнулось да там замело, не подавая больше никаких о себе признаков.

Волк, увидев бабу тоже обмер от неожиданности. Перестав обращать внимание на птицу бешеную, в упор на Дануху уставился. Низко зарычал, оголяя клыки жёлтые да прижимая уши к прыжку приготовился.

Что сделалось с Данухой в тот момент, она позже не смогла объяснить даже самой себе, как ни пробовала. Испуг при виде зверя лютого сначала вогнал её в страх панический, а за тем как-то резко накатил на неё волной обиды за всю эту жизнь грёбанную. Она даже завывала от досады за своё невезение. Только скулёж её был похож больше на вой кота болотного, а обида быстро нарастая захлестнула кипятком ярости.

Разом тело напряглось дурной силою, да три зуба сжались с таким остервенением, что мышцы на лице глаза до щёлок сузили. Дануха уж себя не помня, сама пошла в нападение шагнув зверю на встречу камнем замахиваясь.

Волк оказался какой-то неправильный. В подобном случае зверь нормального поведения нападать на эту бабу дурную никогда б не стал по волчьим правилам. Правильный волк пугал бы как это сорока делала, стараясь заставить побежать добычу, показав беззащитную спину хищнику. Каждый волк нюхом чует два вида страха еды будущей. Когда она удирает и тогда её поймать надобно да сожрать чтоб не бегала. И когда добыча сдуру нападать кидается, сама набрасываясь на охотника, при этом ополоумев до безумия. Такую добычу неправильную лучше не трогать первому, а коль один да без подмоги «товарищей», так не трогать вообще подобру-поздорову.

Волк даже самый голодный никогда на жертву не накинется, коли та своими действиями, ополоумевшими может нанести ему хоть какую-нибудь рану иль увечье. Волк не трус, но он зверь умный, с пониманием. Зверюга знает, что раненый он иль покалеченный тут же станет добычей своих же собратьев да родственников. Таков волчий закон ими же заповеданный. Волк израненный – слабый волк, кровью пахнувший, а значит должен умереть да пойти на съедение. Потому каждый зверь, что по волчьим живёт понятиям, очень рьяно следит за целостностью шкуры собственной. Эта сволочь оказалась совсем неправильной. Он оказался обнаглевшим да вовсе без башки на туловище. Зверь, не задумываясь на бабу кинулся одним прыжком с пастью распахнутой.

От такой неожиданности Дануха вперёд руку вытянула прям перед собой пучком травы заслоняясь от неизбежного и даже глаза зажмурила, ожидая страшного, а хищник со всей дурости заглотил кусок корней в пасть открытую, притом заглотил «по самые свои внутренности». Но волк был тяжёлый словно боров по осени, а прыжок столь стремительный сверху вниз, что толстую да грузную бабу растопыренную, он снёс как пушинку-пёрышко. И покатались они по склону травяному кучей-малой перемешанной.

Дальше Дануха плохо помнила происходившее. Помнила, что орала во всю глотку лужёную почитай в самое ухо зверя матёрого, то и дело срываясь на визг истерический да молотила ему морду «каменюкой» увесистым. Умудрилась даже укусить за нос пса шелудивого, но беззубый рот старческий никаких увечий зверю принести не смог по определению.

Сколько так они катились вниз, иль просто на месте елозили, она не ведала, совсем потерявшись во времени. Помнила, что сначала он сильно брыкался лапами да извивался, будто рыба живая на раскалённом камне жарится. Но хорошо запомнила самый конец побоища, когда уже сидела верхом на его боку, да схватив двумя руками «каменюку» от крови липкую, плющила его башку бестолковую.

Помнила, что Воровайка, дура пернатая, постоянно мешала её расправе праведной, суясь всё время под руку горячую, клюя да щипая хищника окровавленного. Потом перестала летать, а лишь по земле прыгая, в перерывах между прикладыванием «каменюки» на волчью морду разбитую, стремилась во что бы то ни стало клонуть в кровавое месиво.

Наконец Дануха остановила побоище. Потому что устала. Притомила, видите ли. И только тут поняла, что зверь давно подох её стараниями. Тяжело дыша, посмотрела на сороку глазами обалдевшими, что от азарта схватки аж на лоб вылезли. Та скакала вокруг одно крыло подтаскивая, но также перестала кидаться на убитого. Видимо от Данухи ей всё же «прилетело». Дометалась под горячей рукой, «помощница».

Баба, продолжая сидеть на туше волка дохлого, резко обернулась будто кто окликнул нежданно-негаданно, и увидела на вершине холма вторую тварь серую да тут же как есть поняла, что второй не волк, а волчица молоденькая. Вот прям по морде признала суку серую. Зверюга так же, как и кобель её конченный, стояла на том же месте да также скалилась, всякий раз издавая на выдохе сиплое рычание, но в отличие от «муженька» вниз не кидалась.

Дануха всё ещё не остыв от горячки боя скоротечного, медленно да по-ухарски поднялась с вызовом. Поудобней взяла камень окровавленный, да зачем-то ухватив за хвост волка дохлого, стала грозно наступать на нового противника, медленно поднимаясь по склону с травой укатанной, да волоча тушу за собой за хвост то и дело его дёргая.

Дело это было не из лёгких, как понимается, но она упорно почему-то не хотела отпускать дохлятину. Вот спроси зачем, так сама не знает, ни ведает. Тащила да волокла будто «с ума съехала». Сделав несколько шагов натруженных, Дануха внутренним чутьём поняла отчётливо, что волчица наверху оказалась правильная и нападать на неё не собирается.

Сука перестала рычать, лишь изредка клыки оскаливая. Опустила морду к земле будто ей так было сподручней рассматривать да поджала между лап хвост к животу впалому. Баба

тоже столбом встала чуть наклонившись вперёд. Набычилась, злобно зыря на соперницу из-под бровей раскидистых и только тут наконец-то бросила хвост убитого.

– Ну, чё, сучка серая, – злобно прорычала Дануха осипшим голосом, при этом поигрывая в руке «каменюкой» окровавленным, – съела, зверюга злобная? Теперь, тварина мохнатая, я вами питаться буду до скончания века собственного. Я вам *** покажу у кого подол шири: у меня иль у маменьки.

Волчица перестала скалиться, подняла морду прислушиваясь, затем дёрнула головой вверх и сторону да тут же исчезла в густой траве. И только тут Дануха с концами поняла, что всё для неё закончилось. Она победила в этой схватке полностью. Азарт отпустил, но злость лютая всё на том же месте осталась, вскипая кровушкой.

– Так молвите дикой стать надобно? – совсем уж охрипшим голосом вопрошала баба у кого не ведомо, смотря при этом себе под ноги, но ничего там не рассматривая, – ну так я вам покажу, что значить баба дикая. Вы у меня все кровятиной ссаться будете.

Стало совсем светло. Дануха оглянулась на горизонт за рекой далёкий до бесконечности. Там шевелясь да дёргаясь будто живое, вылезало из-под земли солнышко. На бабу как-то резко навалилась усталость да апатия. Бесчувственное тело до этого, неожиданно заныло болью во всех местах. На левой груди рубаха была разодрана когтями волчьими да сильно кровью пропитана.

Она аккуратно отлепила рубаху за разрез ворота да заглянула за него, раны рассматривая. Рваные следы когтей чётко прослеживались в чернеющей мазне крови запекающейся. Похоже, сильно зацепил, пока лапами размахивал.

– Плохая рана, – грустно проговорила баба, обращаясь к притихшей сороке своей, – когти грязные. Может и сгнить в *** к едреней матери.

Наконец отпустила камень окровавленный, да осмотрела руки израненные. Они были тоже все исполосованы, обгрызены да изодраны. Спина ныла, но туда не заглянуть, а на затылке глаз не было. Осмотрела рубаху, вернее то, что осталось от одеяния. Грязная, драная, вся в крови только не понятно в чьей. Хотя, похоже, и в своей, и в волчьей в одинаковой степени.

Подобрала на руки сороку смирно сидевшую, да двинулась, как и положено любой бабе поутру приводить себя в порядок, но пошла не на реку, а дальше на источник заповеданный. Она не думала, что непременно встретит там Водяницу, что тут же, как и в прошлый раз излечит всё это безобразие, но где-то в глубине души все же на это надеялась.

Девы на источнике не оказалось, поэтому пришлось лечиться самостоятельно. Осмотрела сороку взором внутренним, пронюхала. Пришла к выводу, что крыло не сломано, а просто ушиблено. Дануха не знала, бывают ли у птиц синяки с подтёками, но заморачиваться с ней не стала, считая за мелочь пушную. Это не рана. Само образуется. Потому поставив Воровайку на кочку, принялась за себя любимую.

Разделась догола, рубахи в родник отмокать бросила. Занялась сбором трав, главной из которых подорожник был. Затем стоя на коленях, осторожно смыла кровь запёкшуюся, с тела белого. Опосля чего разжевав травы горькие вперемежку с водой родниковой, аккуратно запечатала ранки, куда дотянулась ручищами.

К полудню она уже шагала вдоль берега в рваных рубахах с клюкой в руке, на том месте найденной, где спала давеча, в направлении берлоги своего братца Данавы непутёвого. Воровайку оставила на берегу у баймака. Как ни странно, легко уговорив птицу покалеченную, не ходить с ней в соседний лес. Сорока и не пошла с удовольствием.

До логова колдуна, в общем-то, было рукой подать. Вернулась, когда по солнцу ещё середины дня не дошло. Вот только сходила зря. Данавы на месте не было. Опять ушёл бродить куда-то, непутёвое создание. Следов чужаков видно не было. Значит до него не добралась нежить чёрная, но и его, судя по жилищу запущенному, не было уже почитай с седмицу, не менее.

В том, что он жив остался Дануха была уверена, но, когда этот непутёвый изволит вернуться, никому не ведомо. Хотя должен появиться в ближайшие дни. Как-никак на носу седмица Купальная, а к ней он заявится обязательно.

Следующие живые души, о ком Дануха вспомнила – это её еби-бабы родовые, что по лесам посажены, но к ним идти не хотелось по понятным основаниям. Все эти бабы большуху ненавидели. Это ж она их сослала со свету. И таких по местным урочищам аж пять штук сиживало. Вспомнила каждую. Последнюю уволокла и луны не минуло. У этой, ненависть совсем свежая да временем не притушена. Да, любить им всем её было не за что. Особенно последней, Сикеве взбалмошной. Детей отобрала, правда, уж большеньких. Оба пацана на подростке в ватаге бегали. Да и другие вряд ли забыли её «благоденствия».

Дануха мучительно думала, что делать с ними. Пойти предупредить, прибрать к себе иль пусть пропадают пропадом? Ведь коль сказать, то та же Сикева может и драться кинуться, коль узнает, что за большухой больше защиты нет. Притом драться на смерть будет, тварь, а Дануха изранена, может и не сдюжить бабу рассвирепевшую.

Она сидела на горячей земле у своего кута тлеющего, с подветренной стороны да мучительно думала. Вдруг как гром средь неба ясного из-за бабьих огородов со склона холма памятного раздался бабий вопль душераздирающий. Дануха соскочила, сквозь дым всматриваясь, но разглядеть, кто там так орёт не смогла, не видела. Лишь поняла, что это кто-то из своих, но не смогла определить по голосу.

Неужто кто сбежал? Она, схватив клюку, огородами ринулась вокруг пожарища чуть ли не бегом на вопли отчаяния. Но, не добежав шагов несколько, вдруг резко остановилась и прислушалась.

Баба уже не вопила, а причитала вполголоса и Дануха враз узнала Сикеву только что вспомненную. И то, о чём она голосила где-то впереди в бурьяне разросшемся, большуху просто подкосило да вместо того, чтоб бежать к ней она в траву на задницу рухнула.

– Роденькие вы мои, – ныла Сикева слезами захлёбываясь, – что ж я дура наделала?! Они же обещали не трогать вас. Мне обещали свободу да власть. Что большухой в бабняке сделают. Я б одного из вас атаманом поставила. Что же я наделала? Я же им всё про вас поведала. Они же обещали только атамана с ближниками да Дануху со Сладкой прибить. Троица Святая, что ж я сотворила, проклятая?!

– Ах ты, сука продажная, – прошипела в ярости Дануха, закипая от ярости.

Злость кровью в глаза брызнула. Тело мгновенно перестало чувствовать что-либо да напрягаясь, налилось дурной силою. Рука так сжала клюку, что готова была переломить дерево крепкое. Она медленно встала, да так же медленно двинулась сквозь травяные заросли к изменнице. Большуха совсем недавно думала, что Сикева узнав о злодеянии, будет драться с ней до смерти, а сейчас была уверена, что никакой драки не будет, потому что Дануха просто прийдёт эту мразь без всякой церемонии.

Она тихо вышла на большую прогалину утопанную. Повсюду были разбросаны как куклы переломанные пацаны ватажные. У одного из них она увидела виновницу, всего что здесь сделалось. Сикева валялась на земле да рыдала без устали. Дануха подошла почитай вплотную, пылая от ярости праведной да свирепо прорычала волком оскаленным:

– Встань ***, отродье сучье да глянь мне в глаза, *** тусклая.

Сикева вздрогнула, резко прекратив рыдать, словно подавилась чем. Встать не встала, а лишь медленно да боязливо, шавкой зашуганной подняла на Дануху глаза зарёванные. Расстрёпанная, грязная, страшная, до смерти напуганная, она с ужасом посмотрела на большуху, будто саму Смерть [63] узрела в её образе.

И тут резко вдохнув грудью полной, как завизжит свиньёй недорезанной! Дануха будто только и ждала этого. Резко подскочила да со всего размаха могучего, врезала клюкой ей

по башке растрёпанной. Та, издав неопределённый звук твякающий, повалилась на бок да обмякла мёртвою.

Дануха слабо соображая, что делает, стянула через голову с её рубахи, оголив бабу полностью. С трупа пацана ближайшего сняла пояс да связала Сикеве руки узлами сильными. Снятой рубахой ноги спутала. Большуха была уверена, что не убила гадину, а лишь оглушила и что это мразь скоро придёт в сознание. Так и вышло. Как только та зашевелилась, Дануха схватив её за волосы сильно дёрнула, усаживая на задницу. Сикева взвизгнула от боли, скрючилась да попыталась опять упасть на бок, но Дануха не дала ей расслабиться. Намотав на руку уж кровью волосы вымазанные, она вновь усадила предателя, да задрал её лицо кверху, чтоб видела, зарычала неистово:

– Сказывай, сука! Кто таки? Да откуда пришли *** **?

Но Сикева прибывала в безмолвии. На её лице застыла паника с ужасом, что сковали не только тело хрупкое, но и те процессы, что в голове делались. Дануха поняла, что в таком состоянии, даже коль захочет ничего сказать будет не в состоянии и сплюнув на землю, отпустила волосы. Та моментально на бок рухнула да свернулась калачиком. Большуха сделала глубокий вдох, снимая с себя напряжение да села на траву рядом с пленницей.

Сменив тон на спокойный и даже безразличный как будто бы. Вековуха начала обрисовывать изменнице всю картину происшедшего, то и дело указывая на пацанов переломанных, вокруг валяющихся да давя на жалость материнскую, поняв, что этот способ более действенный что-либо узнать от одуревшей еби-бабы свихнувшейся.

Опыт всё же дело великое. Он не подвёл Дануху и на этот раз. Сикева сначала лежавшая, уткнувшись лицом в груди собственные, со временем начала всхлипывать. Потом просто реветь и наконец её прорвало на признание. Правда, много Данухе узнать не удалось, но всё-таки.

Пару седмиц назад опосля того, как Дануха её в еби-бабы спровадила, появился сначала один гость неведомый. Молодой ариец. Красивый да ласковый. Говорил, что заплутал. ОтбилсЯ от обоза, а по месту открытому, в чужих землях идти побаивался, вот и брёл лесами, скрываясь от стороннего наблюдателя. Добрый был, обходительный. А у Сикевы тогда всё кипело в душе за несправедливость с нею сотворённую. Всю обиду свою на всех выложила, а он возьми да пообещай помочь по случаю.

Седмицу назад он опять пришёл, но уже с другом-товарищем. Тот всё расспросил, кого убивать надобно, кого не надобно. Кто, где, когда бывает да всех по головам посчитал для верности. Пожалел её, пообещал, что большухой сделает, потому что за ними силы немерено. Согнут в бараний рог любую артель мужицкую, а взамен просил мясо с рыбой подешевле давать на будущее.

Окромя того, из её рассказа Дануха услышала, что в продаже её рода на закление, участие принимали все пять еби-баб рода в разной степени. Вот оказывается, кто был у них за согладатаи.

Дануха не стала сразу добивать эту мразь. Перегорела видимо. Вместо этого развязала да велела придать воде всех ватажников, решив отложить пока вопрос, что с ней делать, на потом. До вечера. Сама же пошла разбирать завалы кутовы да хоронить по закону всех, кого там нашла.

Она видела, как Сикева пронесла убитых пару раз, а потом как в воду канула. Дануха ни сразу искать кинулась, а когда пошла, то искать уже было некого. Обойдя склон с пацанами побитыми, большуха поняла, что эта тварь безмозглая похоронила лишь своих детей, а других бросила. И куда она опосля делась было ей не ведомо. Толь сбежала, но куда бежать ей дуре от заговора на сидение? Толь сама в реку бросилась, что всего вероятнее.

Дануха плюнула на еби-бабу пропащую, и даже на душе как-то стало легче от этого. Оставлять эту сволочь в живых не хотелось ей, а убивать рука не поднималась. Трупов и без неё было предостаточно. Хотя прибить всё же нужно было. Заслужила, мразь смерть позорную.

Баба залила, затушила останки жилищ тлеющие. Разгребла да раскопала, где нашла трупики деток маленьких, кого прибили или сожгли прямо в кутах заживо. Ближницу свою Сладкую то ж нашла. Вернее, то, что от неё осталось под завалами. Сильно сгорела баба, до костей обугленных. Дануха даже не признала, она ли это. Но обгоревший костяк был в её куте, других там не было, потому гадать не приходилось да разбираться с опознанием.

Да и как Данава сказывал, таких, как она да Сладкая не брали бандиты ряженные, а прибывали на месте, не задумываясь. Других взрослых баб не нашла. Только детки маленькие полу мужицкого. Сносила всех к реке. Схоронила, по обычаю. [64] Ватагу пацанскую перемолотую сначала в кучу сносила. Все разбросаны были на том же склоне, где Дануха волка мутузила лишь чуть ниже да в стороне от их побоища.

Из утвари мало что нашлось, и продуктов не было. Что упёрли с собой, что погорело в пожарищах. Нашла большой котёл глиняный. Горячий, но не лопнувший. Запасы соли нашла да те припасы, что долго не портятся. Такие заначки хозяйки в земляных приемках прятали, а вороги видать про эти бабьи хитрости слыхом-ни-слышали. Нигде приемки по кутам не тронули.

Вечером, первое, что она сделала, это развела костёр прямо на площади под котлом на камни установленным. Разделала да сварила в крапиве с вонючими травками, всякий мерзкий запах перебивающими, две задние ляхи от волка убитого.

Разделка волка само по себе дело неблагоприятное. Со слабым желудком там вообще делать нечего. А разделка старого волка, каким был тот урод неправильный, на изуверскую пытку тянула мерзостью. Мясо серого воняло нестерпимым запахом, будто он ещё при жизни сдох и давно уж протух потрохами сгнившими, а на Дануху кинулся, лишь решив покончить с этой жизнью сраной полуразложившейся уж ни на что более не годной окромя самоубийства быстрого.

Ей казалось, что она свой нос сунула в чей-то рот гнилой, что вместо того, чтобы проветриться со временем, издавал запах ещё крепче да устойчивей. Несколько раз разделку оставляли позывы рвотные, но она почему-то как за должное восприняла свою «пугалку» сказанную, пообещав волчице питаться её собратьями. Раз сказала, что волков будет грызть, так тому и быть. Поэтому стиснув зубы оставшиеся, упорно продолжала резать тушу вонючую.

Именно тогда опосля очередного порыва наизнанку вывернуться, а до самого полоскания дело не доходило, ибо нечем было, желудок был девственно чист и уж давно выполоскан, в голове её сверкнула догадка на загадку Девину. Да так, что первый раз в жизни дух как-то перехватило по-особенному. «Вот он!» – озарилась она мыслью истины.

Так родила Дануха закон первый: «не блядить». Так он значился. Коль сказала, то делай обязательно. А не можешь сделать обещанного, то и жить незачем.

Мясо хоть и варилось время долгое, но не по зубам пришлось едоку беззубому. Отвара похлебала, а мясо пилила ножом каменным, в виде широкой пластины кремниевой, кусочками маленькими да дожаривая их на углях тлеющих. Только так и съела. Морщилась, но ела.

Хороня в реке кого нашла по кутам да на склоне холма высокого, она не проронила более ни одной слезинки, даже капельки. Опосля драки с волком как обрезало. Только злость осталась непонятная. Раздражало всё, даже погода хорошая.

Воровайка чуя настрой хозяйки, что был хуже некуда, держалась от неё поодаль да молчала, как онемела от всего этого. Усевшись где-нибудь на верхотуре, ветке дерева, вертела головой на полный круг, изображая из себя на стрёме сторожа при исполнении.

Дануха, только как закончив все дела в баймаке порушенном, пошла по прибитому травиному следу в степь широкую в поисках артели да сына единственного. Место их гибели

нашла сразу почитай, а вот из мужиков уже никого, только кости обглоданные да разбросанные огрызки голов во все стороны.

Лагерь у них был временный, кибиток не было. Остались лишь шалаши разваленные да шкуры с жердями разбросанные. Сложила жерди, что нашла в одну поленницу. Сносила на эту кучу дров все останки человеческие. Пересчитала по головам. Оказалось, что артель была полная. Никто не спасся от врага лютого. Запалила. Поныла песнь похоронную, отправляя мужиков своих на небеса к Валу Вседержителю. Вот и всё что смогла. Прощай сынок. Прощайте мужики артельные.

Вернувшись напоследок в баймак. Подрыла Столбы Чуровы. Уронила в реку да пустила плыть к Дедам-покойничкам, навсегда расставаясь со старой жизнью привычною. Волка она доела всё-таки. Шкуру оскоблила как смогла, солью изнутри натёрла, выдержала, а потом как накидку на плечи пристроила. Было не холодно, даже жарковато под солнышком, а накидку сделала просто от того, что захотелось так.

Да хвост от зверя отрезала, приделав на клюку в виде украшения. Этот хвост обладал для неё странным колдовством неведомым. Как только брала его в руки старческие, в раз вскипала от непонятно откуда берущейся злобы с ненавистью. Так злыдней и ходила все дни погребальные, нет-нет да затеребит в руке серый огрызок от волка оставшийся.

Воровайка так вообще к хозяйке близко подлетать наотрез отказывалась, куда там на плечо усаживаться, как бывало ранее. Как Дануха накидку на себя набросила, так эту дрянь все эти дни молчавшую, прорвало на понос говорливый без умолку. Как уж она только не причитала бедная. Как только не драла свою глотку сорочью да не возмущалась увиденным. Выкрутасами в небе психовала, скакала, прыгала. Даже пучок травы в припадке злобы весь исклевала да выщипала. Опосля истерики припадочной, за которой Дануха с интересом смотрела посмеиваясь, сорока улетела на берёзу да там усевшись на ветку, нахохлилась, затаив обиду смертную, отвернулась от хозяйки да замерла чучелом.

Дануха ещё маленько позубоскалила на выплеск её птичьих чувств, собрала пожитки, что нашла в мешок заплечный, что смастерила из уцелевшей шкуры найденной. Взяла клюку, вечно с собой таскаемую, хотя теперь она была как бы и не к чему ей с её ногами помолодевшими, но от привычки иметь её под рукой просто не смогла избавиться.

За долгие годы эта деревяшка старая стала чем-то вроде части тела собственного. К тому же Дануха не бросила ещё и потому, что чужла себя с ней словно при оружии. И отмахаться можно, и врезать как следует. Так что посчитала палку вещью полезною.

И вот лишь опосля того, как собралась полностью, подошла к берёзе той, где сидела сорока «надутая» да впервые за эти дни с ней заговорила, как, бывало, ранее:

– Слышь Воровайка. Ухожу я отсель. Нет у нас с тобой более ни баймака, ни кута прежнего. Да и жизни старой тоже нет более. Хочешь айда со мной. Только птица ты моя, я теперь другая сделалась. Вижу тебе не по нраву прихлись во мне изменения. А коли нет, ты сорока взрослая. Края эти знаешь как облупленные, чай ни пропадёшь, не потеряешься. Так что сама решай, как станешь жить далее. Чай не маленькая. Не пойдёшь, я в обиде не останусь. Пойму, как-никак. На кой пень тебе привыкать к новой-то хозяйке взбалмошной. Хотя к другой жизни привыкать всё одно придётся. Хоть со мной, хоть без меня, оно ведь без разницы, – Дануха замолчала, как бы ожидая, что ответит сорока обиженная, но та сидела всё так же на ветке, ничего не собиралась отвечать видимо, – ну, как знаешь. Спасибо тебе за всё Воровашка и прощай на добром слове. Не знаю, свидимся ли.

С этими словами перехватила лямку на плече поудобнее да пошла вдоль реки в сторону леса чёрного. Пошла даже ни разу не оглянувшись на бывший баймак.

Сорока как сидела, так и осталась сидеть на дереве...

11. Все мы пикаперы, когда зубы сводит от желания и все мы мастера пикапа, когда и тебе и ей хочется...

Грубый голос мужика конями правящего, вырвал Зорьку из воспоминаний сладостных вот на самом интересном месте по «закону подлости». По его словам, поняла пленница, что они куда-то не то прибыли, не то приехали.

Она огляделась, головой вертя с рыжими лохмами, но в её сидячем положении ничего особо видно не было. Всё та же степь что и ранее лишь повозки за ними следовавшие, стали круто забирать правее, таща свои волокуши куда-то в сторону. Они были далеко от них, и ярица не смогла разглядеть как следует, что же они там тащили такого ценного. Только виднелись кучи большие непонятно чего наваленного.

Их повозка остановилась, и атаман громким окриком кого-то там из своих оставив чем-то командовать, чем Зорька не поняла естественно, велел ехать в логово. «Ну, вот и всё», – обречённо девка констатировала, – «сейчас начнётся что-то плохое, кажется».

Через время недолгое въехали в лесные заросли, и она увидела пацанов, вооружённых луками. Они главаря своего приветствовали криками восторженными. Хотя сами пацаны были обычные, только явно постарше, чем их ватажные. Все как один, мужики молоденькие. Атаман небрежно поднимал руку в знак приветствия да не останавливаясь продолжал движение всё глубже заезжая в заросли тенистые по узкой дороге накатанной.

В глубине чащобы их ещё одна группа встретила, так же проявившая восторг при их приближении и наконец, опосля третьей засады над головой вновь засветило солнышко. Кроны деревьев кончались, и повозка выкатилась на место открытое. Но то была уже не степь, что была давеча. За бортом появились землянки, кибитки с шалашами разными и поняла Зорька, что они прибыли в какое-то поселение.

Повозка встала, проехав небольшое расстояние. И похититель её, спрыгнув наземь да заложив на груди руки перемазанные, стал пристально Зорьку рассматривать. Было жутко неудобно от этого взгляда мерзкого, будто на менах на неё приценивается. Да с такой рожей кислой словно изъяны отыскивает, чтобы цену сбить на неё как на товар не первой свежести.

Она сжалась вся, губу надула обиженно, обхватив колени руками да почувяла, как щёки загорелись румянцем предательским. А в его руках сверкнул нож из металла блестящего. Срезал он узел, что был на повозке завязанный да намотав верёвку на руку грозно рывкнул на неё, запугивая:

– Слазь! Приехали!

От этого рыка звериного по всему телу девки щупленькой пробежало стадо мурашек испуганных, и она оцепенела от ужаса. Почему-то именно теперь ей вспомнились все рассказы о «чёрной нежити», что питается исключительно бабами да такими как она девками худосочными, и Зорька была уверена, что её прямо тут начнут грызть, даже не варя и не жаря предварительно.

Пока мысли в голове скакали зайцами, что-то очень сильно за ногу дёрнуло, и ярица оказалась на земле в одно мгновение, со свистом проскользнув по шкуре беровой да больно боком стукнулась о дорогу пыльную. Сердце из груди выскочило, заметалось где-то в голове, в висках бухая. Она вскочила на четвереньки неосознанно, резанула боль в коленях изодранных. Девка тут же поднялась на корточки, да приняв позу сидячую в ожидании неминуемого, уткнула голову в колени, руками обхваченные, стараясь в размерах уменьшиться иль вообще стать для «зверя» не видимой. И тут ярица описалась. Толь от страха тело сковавшее, толь от натуги сжатости позы скрюченной.

– Запомни, – услышала она голос «пленителя» возле самой макушки, где зашевелились волосы, – я никогда не повторяю дважды своего повеления, не делая при этом никому исключения.

«Зверь» замолчал, но его дыхание тяжёлое, Зорька чуяла своим темечком даже сквозь толстый слой грязи, коим были покрыты волосы. Какое-то время недолгое он молчал да дышал ей в голову. А она никак не могла понять, что эта сволочь ждёт от неё да чего ему надо, проклятому.

Страх ознобом колотил тело девичье да больше всего почему-то голову, что тряслась болванчиком во все стороны. В ней и так сердце долбилось, как ненормальное да к тому ещё добавилась «трясучка страховая», отчего Зорька получила сотрясение, наверное. По крайней мере было у рыжей, такое предположение, ибо голова вдруг резко разболелась аж «до не могу» до самого. Несмотря на ужас, что сковал её бедную где-то на границе между паникой обезумевшей, толкающей бежать куда глаза глядят да обморочным состоянием.

Зорька зачем-то медленно подняла голову, глаза приоткрыла щёлками, да искоса посмотрела на мужика над ней нависшего. Меж грязных паклей волос собственных, лицо закрывающих, прямо перед собой она увидела лезвие ножа блестящее. Зенки резко распахнулись, да так в распахнутом состоянии и замерли, застыв как у дохлой рыбы на берег выброшенной. Всё поплыло, закружилось в глазах перепуганных. Она в очередной раз теряла сознание, но его голос низкий с нотками грубости удержал девку от падения во мрак восприятия.

– Если я сказал тебе что-то сделать, то ты это сразу делаешь, не раздумывая. Поняла ты меня?

К ней опять вернулся колотун-озноб, что затряс ярице голову в знак её понимания и вода не только снизу, но и сверху хлынула из глаз в три ручья, как показалось Зорьке, аж под напором брызнула.

– Встань, – проговорил он властным голосом.

Зорька собрала свои силы последние и кинулась исполнять повеление, но получилось это нерасторопно как-то, неуклюже медленно. Тело предательски не слушалось, оно будто не её было вовсе, а чужого хозяина. Но поднявшись кое-как на ноги, ей разом полегчало от чего-то, да за дышалось свободней в первую очередь. Озноб утих, только ноги подрагивали. Нахлынула усталость дикая, а с ней и силы последние покидали тело вялое. Хотелось просто упасть и не вставать более, вот только вместо этого Зорька прижала руки к груди да уронила в ладошки голову, не в силах больше держать её тяжеленую. В тот момент она уже ничего не видела, ничего не слышала и шатаясь из стороны в сторону, лишь следила зачем-то за своим дыханием, стараясь во что бы то ни стало восстановить его и выровнять.

– Руки вытяни, – потребовал мучитель вымазанный.

Кутырка исполнила повеление безропотно, сдавшись на милость победителя. Ей было уже наплевать на всё что вокруг делалось. Зорька даже обрадовалась в глубине души, что кто-то ещё её телом командует, ибо сама это делать уже не могла ни какими усилиями. Рывок и руки стали свободными. Он срезал ей путы туго вязанные. И тут в онемевшие кисти хлынула кровь горячая, а в кожу впились тучи острых иголок от ёжика. Зорька замерла всем телом, особенно руками болезненными, чтоб не усугублять колючки противные. Замерла при этом в несуразной позе, неестественной. Вся сгорбилась, скукожилась, руки перед собой вытянув. Глаза зарёванные, на них уставила будто отродясь никогда своих рук не видела.

Атаман кого-то позвал по имени, велел баню готовить ему, да ещё давал какие-то указания. Зорька тогда ещё успела подумать вскользь в глубине сознания: «Баня! Вот баньку бы теперь, а опосля и сдохнуть не жаль от всего этого». Тупо продолжая смотреть на пальцы сами себя кусающие, она боялась пошевелиться вся. Даже глазами не моргала, а то вдруг чего. Из этого оцепенения её вновь вывел голос грубый с вызовом:

– Ну. Ты видела?

«Что видела? Где видела? Ну вот, опять просмотрела всё. Теперь снова больно сделает». Все эти мысли сами по себе рождённые словно вихрь пронесли в голове ярицы, и она в оче-

редной раз вся сжалась, ожидая недоброго. Но вопрос оказался риторическим, и ей отвечать не потребовалось. Он сам ответил, не нуждаясь в собеседниках:

– Я сказал и все метнулись выполнять мои повеления. Это всех касается, потому что Я здесь самый главный. Главнее некуда.

Она вновь закивала головой болванчиком, опуская наконец-то руки в чувства пришедшие да облегчённо вздыхая с радостью, что на этот раз всё обошлось без грубости.

– Ну если поняла, то иди за мной, – проговорил мужик спокойным голосом и зашагал к большой кибитке, пёстрой как поляна цветочная, отчего-то сразу в глаза бросившейся.

Зорька хотела пойти за ним в след не раздумывая, но кажется забыла, как это делается. Она только мелко затопталась на месте, даже успев испугаться, что не догонит «пленителя». Но потом как-то само собой получилось, и она засемила в след, не дав натянуться верёвке к ноге привязанной.

Атаман нырнул в эту кибитку пёструю, придерживая рукой шкуру входную, но её с собой не потащил и верёвку не натягивал. Зорька остановилась в нерешительности и огляделась по сторонам, находясь в полной прострации. Но ничего особо не успела рассмотреть, кроме того, что это поляна огромная, окружена со всех сторон лесом тёмным, так как мужик из кибитки вынырнул и протянул ей ковш питейный с кровью человеческой, как поначалу Зорька подумала. Сердце снова забилося как у зайца концы отдающего.

– Пей, – потребовал он грозно зыряка.

Дева подчинилась безропотно, а куда деваться было в её-то положении. Протянула руки к ковшу, а сама заметалась мыслями. Как же она будет пить эту хрень несусветную? Хотя пить хотелось невтерпёж, будто с прошлого лета не поена. Думая о том, как будет ей противно глотать чью-то кровь выпущенную, как её стошнит всеми внутренностями, тем не менее страх пред ним был больше да увесистей, оттого Зорька исполнила волю «тут самого главного» да пригубила алое содержимое.

Но лишь испив чуть-чуть лицо скрививши, рыжая тут же волей-неволей принялась. «Кровь» оказалась вкусной до безумия. Почмокала языком да поняла с запозданием, что это не кровь вовсе, а напиток ягодный, причём такой вкуснятины кажись, отродясь не пробовала! Зорька, аккуратно, в себе торопыгу приструнивая, чтоб не торопилась да ни пролила влагу живительную одним махом осушила ковш увесистый, но ей оказалось мало этого.

Он как будто прочитав мысли пленницы на её лице бесхитростном начертанные, и обрезал коротко:

– Ну и хватит с тебя, а то лопнешь тут, да всё обрызгаешь.

И отобрал рывком вожаемый ковш из её цепких пальчиков, на что у девки в раз лицо сквасилось. Ариец повеселел от увиденного. Видать, вид её сморщенный, изрядно порадовал душегуба кровавого. Он повёл её дальше к огороду коноплянному, что стеной возвышался невдалеке от кибитки всего в девяти шагах. Что не дикие то были заросли, а насаждения искусственные, Зорька сразу поняла, лишь взглянув в их сторону. Указав на ряды аккуратные, он небрежно проговорил безразличным голосом:

– Гадить сюда. И никуда более.

Ощувив сырость между ног позорную, Зорьке стало нестерпимо стыдно за себя нерадивую, и она, потупившись, промолчала вслух, а про себя выдала: «Не хочу уже». Но он как будто снова слышал речь не высказанную:

– Ну, как знаешь. Было бы предложено.

Атаман бесстыже распустил штаны прямо пред девицей, мужиками непуганой, да достав свой уд руками грязными показательно полил зелёные насаждения. Только для Зорьки-оторвы это не было чем-то не виданным. Нашёл чем удивить кутырку навывадане. Она много раз подобное видела. Притом не только у пацанов ватажных, но и у мужиков видала, но, чтобы вот так напоказ...

Хотя, чего кочевряжиться. На показ тоже видела. Как-то раз, Неупадюха своим отростком размахивая, за ними бегал да целил струёй в девок скачущих, а они как дуры визжали радостно да увёртывались. И любопытно было «до-ни-могу», как у пацанов это устроено, но и вонять опосля него было не радостно.

Неупадюха, гадёныш эдакий, прекрасно знал, что размером своего достоинства ему не придётся стыдиться в будущем, а потому всякий раз им хвастался, как выпадала возможность для этого. Атаман же сейчас не напоказ делал своё деяние, показывать то там было нечего, насколько Зорька успела высмотреть. Он делал это абсолютно естественно, будто для него это само собой разумеющиеся и другого не подразумевается в принципе.

Отлив да смешно потрясся «недоразумением», он не стал завязывать штаны, а лишь их поддерживая, чтобы вовсе не упали, зашагал в обратную сторону. Его походка со штанами спущенными, даже повеселила пленницу, забывшую о своей привязи. Но пошёл он не туда, откуда пришли, а на другую сторону, где Зорька увидела большой шатёр, пёстро отделанный шкурами разными. А из верхушки шатра дымок белёсый струился столбиком.

– Тряпье сбрасывай, – велел мужик, подходя к какой-то насыпи с её роста высотой на вид глиняной.

Он, не оборачиваясь скинул с себя шкуры верхние да штаны снял приспущенные и на Зорьку уставились две массивные ягодицы цвета молочного да широкая спина мускулистая, в отличие от задницы загорелая. От этого зрелища вопиющего, ей вновь подурнело как давеча.

Вцепилась она в рубахи свои грязные да начала их комкать отчаянно да теревить неистово. Нет, она не была застенчивой и не страдала скромностью, как можно было подумать со стороны глядя на кутырку растерянную. Она не умела этого делать в принципе. С поски-кух голышом сверкала, чем не попадя. За что от мамы получала частенько тем, что попадало под руку по заду голому выпячиваемому, а уж теперь, в ярицах и подавно стыда не ведала. Ей наоборот нравилось тело собственное, и она всегда при любой возможности красоту свою демонстрировала всем да без разбора особого, ловя взгляды пацанские восхищённые. Зорька осознавала превосходно силу тела молодого да стройного со всеми его достоинствами и без единого изъяна во всех местах...

Вот в этом то и было её замешательство. Лишь взглянув на коленки ободранные, кутырка поняла с ужасом, что красота её девичья вся ободрана как кора с мёртвого дерева. Какое уж тут к червям совершенство природное? Зорька вдруг почуяла каждую ссадину, каждую царапину мерзкую и как скажите на милость показать пред мужиком такие непотребности. Пусть даже он и людоед с кровопийцей в одном лице. Всё равно кошмар полный да жалкое унижение.

К тому же она вся грязная и вонючая. Руки не поднимались у девицы обнажиться в такой ситуации да пред глазами мужика представиться. Позор-то какой невиданный. Лучше б он сожрал её вместе с рубахами, не так обидно было бы за вид свой ободранный, но увидев в его руке нож блеснувший, тут же всё закидоны забыла, как не было, и рубахи полетели на землю через голову, успев при этом одним движением утереться меж ног. Ну, хоть какое-то облегчение. Ариец присел на корточки, воткнул в землю нож да тихо позвал пленницу:

– Подойди ко мне.

Под ногами оказалась стерня жёсткая от травы недавно срезанной, что впивалась в ступни голые клыками звериными. Хоть ноги и привыкли босиком ходить, и кожа тонкостью не страдала с детства раннего, но идти всё равно было несподручно и болезненно. Это не по травке вышагивать да не по песочку бегать подол подворачивая. Смотря под ноги да руками балансируя, сгорая от стыда за вид свой отвратительный, грязный и буквально порванный, она шагала к учителю.

И чем ближе подходила к мужику голому, тем более дурные чувства овладевали ей. Не дойдя чуток до атамана ожидающего, она остановилась, взмолилась Святой Троице, чтоб не учуял он проклятый, как от неё воняет нечистотами.

– Ближе, я сказал, – он скомандовал, вынимая нож из земли да в руке поигрывая.

Тут она забыла и о вони в носу копошащейся, и о своём виде неподобающем для кутырки до «навыдане» выросшей, и резко переключилась на прощание со своей жизнью загубленной. Такой короткой, такой любимой да сладостной и вместе с тем несчастной хоть плачь по ней. Подошла в плотную безропотно. Отворотила лик от участи неминуемой да принялась себя жалеть всеми силами. Ком к горлу подкатила, приготовилась, но зареветь не успела, как не пыжилась. Атаман верёвку срезал с ноги ободранной, да в том месте, где она была привязана, зачесалось зверски зудом немилостивым. Так зачесалось, что жуть какая-то. Зорька машинально ногу подняла, чтоб почесаться как следует, а он возьми да схвати её своими ручищами. Поднял как пушинку, да с размаха швырнул за насыпь глиняную вариться в котёл кипящий, как она осознала последними мыслями.

Сооружение из глины слепленное, было устроено подобно котлу варочному, кипятком наполненное. Посудина была настолько глубока да вместительна, что Зорька с головой туда нырнула, не вякнула и даже умудрилась о дно не удариться. Тело охватила боль жгучая да такая, что изначально показалось девице, что она сварилась сразу и заживо. Оттолкнувшись от дна скользкого уже не помня-чем, да наружу вынырнув, кутырка заорать попыталась в панике, что было мочи, но не смогла родимая. Перехватило горло спазмами. Тут что-то большое да грузное рядом с ней в котёл плюхнулось, поднимая волну тягучую, от которой чуть не захлебнулась отваром собственным.

Ничего не соображая, руками размахивая, глаза вытаращив так, что от чрезмерного усердия они уже ничего не видели, забарахталась к краю спасительному. Только то, не вода была, а бульон тягучий да наваристый, быстро пеной покрывающейся, от её брыканий беспорядочных.

Ноги дно учуяли, но оно было скользким да вогнутым, будто салом изнутри вымазанным, и ей никак не удавалось вцепиться в край спасительный до которого рукой подать да не дотянешься. Она бултыхалась из последних сил, захлёбывалась тем в чём плавала, только тщетны все были усилия. Не давался ей край в руки скрюченные. Видать, умный шибко был строитель тот, кто придумал эту посудину. Всё сделал правильно, чтобы мясо само собой из супа не вылезло.

Наконец Зорька рывком дотянулась до края желанного да судорожно в него вцепилась из последних сил, замирая и ревя безголосо от безысходности. Наружу вылезти да сбежать из варева мочи не было. Напрасны были усилия. Это был конец жизни девичьей. Ярица даже в жутком сне с кошмарами не представляла себе подобного, как это страшно вариться заживо, когда ты всё это чувствуешь, каждым кусочком тела собственного. И безысходность с болью невиданной слились в кусок обиды безмерной жалости к себе любимой да единственной, такой молодой да такой красоты неписаной. И тут у неё, наконец, голос прорезался для рёва от всей души безудержного.

– Что щиплется? – услышала она голос мучителя.

– Да, – прокричала она, не задумываясь, но голос вместо крика отчаяния издал лишь нечто странное, на писк похожее.

– Значит заживает. Не пищи. Ничего с тобой не сделается.

«Какой к *** заячьим, «не пищи». Сволочь ***. Людоед обоссанный, чтоб ты усрался этим супом до смерти». Ругалась девка про себя без удержу, стиснув зубы да пальцы за край уцепившиеся, но терпела, как могла из последних сил. Собирая все маты да гнусности, какие только знала да припомнила.

Тут боль от первого ошпаривания утихать начала вроде бы. И ярица сквозь клокотанье сердечное вдруг про себя подумала: «Так это что получается? Чем дольше варишься, тем меньше боль становится? Мясо варёное не чувствует? А почему я ещё не умерла тогда?». Но тут нежданно-негаданно голос за спиной с надменностью высказал:

– Да, расслабься ты дура бешеная. Пощиплет чуток да перестанет. Отмокай пока.

Она как будто от забытья очухалась. Отцепила одну руку от края котла глиняного да медленно поворотила голову. Её мучитель сидел, нет, лежал, пожалуй, в том же вареве и, судя по его морде мерзкой, получал от этого наслаждение!

И только тут она почувяла, что жижа, в кой плавая варилась – холодная! Тут же и спина почувяла прохладу и задница. Нет, не холод родника и не речной воды. Жижка была чуть прохладней тела пылающего, что для измученного долгим путешествием туловища даже приятно было в какой-то степени. А пекло и горело только спереди, там, где всё было ободрано. И тут она всё поняла, и на неё накатило отходняк бессилия. Хват руки ослаб, а пальцы, обезумевшие от напряжения, заломило до нестерпимости. Она опрокинулась на скользкую стенку котла спиной, но не сползла вниз только потому, что зацепилась там попой за какое-то углубление, будто только для этого и предназначенное.

В голове, отупевшей мысли кончились, а в ушах звон стоял оглушающий, там и сердце где-то между ними колотилось, да так, что норовило выскочить. Зорька осмотрела посудину. Жижка, где она сидела по плечи утопленная, была густой да пахла пивом с терпкими травами. Девка носом повела, принялась. Приятный запах, едой пахнувший. Отчего слюной рот наполнился да живот заурчал весело, будто кто его кормить собирался ни с того, ни с чего да запросто так.

Вся поверхность была усеяна мелкими листьями. Плавали травинки, корешки, веточки. То там, то сям была накрошена кора дерева да знакомые семена трав в степи собранные. Тут вдобавок поняла кутырка, что коли не двигаться, то тело вовсе боль не чувствует, наоборот, прохлада жар снимает и оно погружается в негу приятную. Голова закружилась будто в опьянении, и глаза закрылись от усталости...

Зорька дёрнулась. Уснуть да утонуть во сне в этой жиже месива непонятного ей не хотелось решительно. Хотя вражина, что напротив устроился, похоже, уже крепко спал мерно посапывая. Поняв, что всё не так ужасно, как мерещилось, она принялась с любопытством мелочёвку разглядывая, что вокруг плавала. Вот листок смородины, вот вишняк молоденький, а вот мелкий крестик травы-силы всем ведомый.

Она так увлеклась этой ботаникой занимательной, что голос атамана прозвучал настолько неожиданным, что она от испуга чуть не сиганула из котла этого, из коего ещё недавно не могла вылезти. Зорька испугалась и устыдилась в равной степени, будто её застали за непристойным деянием, поймав с поличным на месте преступления.

– Это пивас, – проговорил мужик, хитро прищурившись, – что-то с чем-то на пиве с квасом замешанное. А ещё травы всякие, кора тёртая, ягоды даже есть и ещё что-то, наверное. Я не разбираюсь в этом. У меня вон, знатоки есть, помощники.

Он колыхнул волну поднимаясь на ноги, да окрикнул кого-то смотря в сторону:

– Диля! Где ты лодырь прохлаждаешься?

– Да тут я атаман, – ответил голос мальчишеский.

– Ну что там с баней, бездельник эдакий?

– Так готова давно. Тебя дожидается.

Нагоняя волну тягучую, он подошёл к пленнице, не стесняясь вида голого. Бесцеремонно вынул её из котла, но не махом как закидывал, а осторожно за руки придерживая спустил за край на покатый отвал глиняный.

Она коснулась земли ногами да оглядела себя безобразную всю покрытую мутной плёнкой чего-то непонятного, с всюду прилипшими листочками да семечками. Ощущение было таким, что говном жидким измазали, и она брезгливо начала обтираться от налипшего, отлепляя всю эту дрянь что в котле плавала.

Ну, а дальше и сам мучитель выпрыгнул, да, особо не интересуясь её мнением потащил в цветастый шатёр за руку, где темно было и жарко до изнеможения. В нос ударил с детства

ведомый банный запах берёзовый. Сидя в котле с прохладной жижей, она уж начала подмерзать чуть-чуть, и банный жар был как нельзя желанным в данном случае.

Войдя во мрак опосля солнца яркого, она замерла, опустив голову, как учили бабы в бабняке Данухином. Раз мужик в баню завёл, то тут и понимать нечего, значить и вести себя надо подобающе. Атаман о чём-то шептался с пацанами мелкими. Зорька их не слышала, о чём они там секретничали. Она стояла и просто блаженствовала, аромат дыма берёзового в себя втягивая. Ярица и не заметила, как мужик подошёл, потому в очередной раз вздрогнула, когда тот взял её за подбородок и поднял голову, да так что его взгляд оказался супротив её лица испуганного.

Глаза к темноте привыкли, и лик арийца виделся отчётливо. Хоть и было оно ещё не отмытое, а всё в подтёках черных, что с волос текли ручьями волнистыми. Какая-то суетливость да внутреннее возбуждение овладело девкой от непривычности происходящего. Он смотрел спокойно, не мигая, будто внутрь заглядывал. Она же извелась вся под его взором пристальным, не находя себе ни места, ни выхода, оттого провалиться сквозь землю готовая.

В ней отчаянно боролась кутырка вчерашняя, с кем себя никто не вёл подобным образом да молодуха завтрашняя, как ей казалось уж ко всему готовая. Пока никто из этих половинок внутренних не мог победу одержать противоборствуя. Молодухой быть хотелось, конечно же, но кутырка внутри упиралась, дура несмышлёная, вцепившись в ярицу словно посикуха в рубаху мамину.

Зорька нежданно испытала стыд, давно забытый за ненадобностью за то, что неумёха такая неуклюжая. Она не знала, что делать надлежит в таких случаях. Их другому учили да о другом рассказывали. И мужик по её понятиям не так себя вести обязан при обладании девицей. А он, как назло, стоит да ничего не делает. Держит её за подбородок и в глаза заглядывает, да так мучительно долго, что невыносимо становится. Зорька от стыда сгорала лучиной высушенной, не понимая, с какой стати стыд тут взялся, да ещё у неё – оторвы общепринятой. Ничего подобного она раньше не испытывала. Это было что-то новое, непонятное, оттого возбуждающее и вместе с тем страшное.

Наконец отпустив Зорьку, он указал на скамью, шкурками зайца крытую да повелевая лечь на неё без слов одним движением. Она как одурманенная, битая дрожью мелкой в раскалённом воздухе, еле доковыляла до лежанки, по песку нагретому. Улеглась, отодвигаясь к краю дальнему в ожидании, что он возляжет рядом с ней да с ней сделает наконец то, чего так боялась девонька и так нестерпимо хотела уж всё время последнее.

Но он не лёг, а повелел лечь на ближний край и на спину. Она послушалась. «Ну, вот теперь уже точно», лихорадочно девка подумала, пребывая вся в предвкушении, да чтоб не выдать своего волнения, а тем более желания предательского, зачем-то сильно зажмурилась. А он всё ни начинал, будто издевался над девицей. Но тут его насмешливое «Расслабься, дура. Я просто полечу твои царапины», выдернуло её из сладостных грёз вожделения.

Это был облом. И воспринято было как унижение. Только тут рыжая поняла, что не только зажмурилась, но и напрягла все мышцы тела до последней жилочки, да так, что пальцы на ногах заныли от усталости да перенапряжения. В воздухе пахло коноплей привычной на камне сгорающей, а «пленитель»-зверь страх нагоняющий, начал омыwać её тело с нежностью, чем-то мягким да тёплым словно пухом беличьим.

Было так приятно, что девка в раз забыла обо всём и расслабилась, разомлев от неги да благодати деяния. Зорька даже глаза прикрыла от удовольствия, только что не поскуливала. Опосля мягкого да тёплого, он начал щекотать раны пальчиком, нанося что-то вязкое да липкое, судя по ощущениям. Ранки чуть пощипали вначале прикосновения, а затем чесаться принялись. И чем дальше, тем больше распалиться начали.

Вскоре неги с блаженством, словно дым улетучилась, и начались мучения нестерпимые. Нет, пытка сушая. Чесаться хотелось неимоверно, аж до «не могу» крайнего, но Зорька терпела

стоически. Лишь когда он закончил экзекуцию да зашебаршил в сторонке, что-то делая, она глаза распахнула да принялась оглядываться и, извиваясь потихоньку почёсываться.

Мужик мылся. Смывал с себя краску чёрную да то, что налепил в котле, плавая. Она осмотрела себя сверху донизу всю покрытую полосами зелёными. Зорька в раз поняла, что целебной мазью намазана. Только какой-то неведомой. У них бабы такой не делают. Вот от этого-то щиплет да чешется. Кожа просто заживает, затягивается.

Она бросила рассматривать себя непутёвую да с неподдельным интересом принялась рассматривать похитителя. Мужик стоял к ней спиной да был занят собой исключительно, совершенно не обращая на неё внимания. Правда пара в шатре нагнал много так, что она едва видела его силуэт мелькающий. «Интересно», – вдруг подумала ярица, – «а как его зовут по-ихнему?». Все, кто к нему обращался при ней, только «атаманом» кликали и по-другому никак не обзывали более.

Она осторожно на лавку села делая вид, что втирает мазь нанесённую, а сама продолжала его откровенно рассматривать. Он оттирался, плескаясь в ушате, поддавая пару своим плесканием и, в конце концов, воздух стал настолько обжигающим, что Зорька, хоть с рождения к бане привыкшая, но из-за содранной кожи не выдержала и тихонько сползла вниз, устроившись за лавкой на прохладном песке возле стеночки.

Раздалось громкое шипение головёшек водой залитых, и пар превратился беспроекторный туман, такой, что не видно было руки протянутой. Тут неожиданно он позвал её по полному Зарёй Утренней. И её в тот момент даже не насторожило, не заставило задуматься, откуда он знал её. Ведь она не представлялась похитителю, да и вообще с ним не разговаривала. Зорька лишь пропищала, откликаясь на зов хозяина, закрывая при этом лицо руками обеими от жара нестерпимого.

Атаман звал выходить, но куда? В какую ползти сторону? Кутырке было абсолютно не ведомо. Зорька вообще не соображала, где тут выход может быть, а он ещё источник света залил, собака вонючая. Идти на четвереньках она не могла – колени содраны. Встать, поднять голову – жар кусается. И тогда девка ничего лучше не придумала, как встать на руки да на ноги, выставив попу вверх да придерживаясь стенки шатра как ориентира единственного, шустро двинулась вперёд на четырёх конечностях.

– Утренняя Заря, – заорал он откуда-то спереди, почитай рядом совсем, – выходи оттуда, пока не задохнулась и не превратилась в рыбудохлую.

И тут же через пару шагов Зорька увидела мутный свет спасения и вот в этой позе вызывающей, буквально наружу выскочила и замерла, глотая воздух освежающий. Вдруг откуда-то с неба ясного на неё хлынул поток ледяной воды. Рыжая не то взвизгнула, не то хрюкнула от неожиданности да резко вскочила на ноги.

Всё вокруг плавало да качалось, словно в реке отражение. Но холодный душ привёл в какое-то сознание, хоть и пьяное. Кутырка убрала с лица волосы мокрые да узрела перед собой двух мальцов, лет по десять, что в упор на её промежность уставились, да так и оцепенели с глазами распахнутыми.

Зорька, не спеша и даже где-то величаво с надменной улыбочкой, прикрыла лобок ладошками, а затем из одной скрутила фигу смачную, изобразив на лице ухмылку злобную. Мальчишки разом вострепнулись, пришли в себя и засмутились застенчиво. Заметались на одном месте из стороны в сторону, не зная куда себя деть да где сквозь землю проваливаться поблизости, моментально покраснев до самой маковки. Зорька тогда ещё подумала: «Какие странные пацаны тут водятся. Они что ни разу девку голую не видели?» Откуда ей было знать тогда, что в этом логове девок нет попросту, и самое главное – никогда не было. И если эти мальчишки и видели когда-нибудь девочку голую, то это было для них так давно, что они и не помнили.

Но Зорьке её выходка понравилась, и она была собой довольная. Пока рыжая издевалась над пацанами-малолетками, атаман окатил себя водой из большого ведра долблёного, выхватил шубу из рук пацанов, совсем потерявшихся да грозно на них рявкнул, явно наигранно:

– Пожрать накрыли, дармоеды, бездельники?

– Всё готово атаман. Осталось только горячее.

И тут оба с пробуксовкой по траве сырой, рванули куда-то за шатёр ляписный. Зорьку от души порадовала их ретивость поспешная. Как-то смешно у них получилось это убегание. Но тут руки сильные подхватили её тело голое и понесли, не понять куда. У кутырки заново внутри всё встрепенулось, задёргалось. Дыхание перехватило, и она поняла неожиданно, что покраснела так же, как и пацаны давеча.

Он донёс её до входа в жилище странное, резко поставив на ноги. Прodelал это грубо как-то, непочтительно. Не поставил, а небрежно бросил, что ли. По крайней мере, ярице показалось так, и она, забыв про то, в каком положении находится, умудрилась даже обидеться.

– Залазь, – гаркнул он, не обращая внимания на кутырку надувшуюся.

Рыжая на волне короткой забывчивости злобно на него зыркнула, поджав губки в стервозности, но упёрлась в ещё более злобный взгляд, от чего тут же ступевалась, запаниковала, резко вспомнив, кто она теперь да где находится. Девка, не мешкая в кибитку юркнула, понимая чувством внутренним, что ничего хорошего в дальнейшем ждать не приходится. Вернулся страх пред этой сволочью. Она опять бояться стала этого зверя безжалостного.

Прошла куда велел, да взгляд потупила, уставившись в пол соломой застеленный. Даже не стараясь оглядеться да рассмотреть помещение. К ней вернулся ужас сковывающий, что был в самом начале, когда он сбросил её с повозки в пыль придорожную. Похититель стал снова злым, и от него повеяло смертельной опасностью. «Неужели та безобидная шалость с мальчишками, его так разозлила да из себя вывела?» – спрашивала она себя, вспоминая фигу выкрученную.

Атаман велел сесть на лежак. Она села, не смея послушаться. Небрежно кинул одеяло мехом шитое, и Зорька тут же в него закуталась, чуть ли не с головой зарылась в меха мягкие, почувствовав при этом хоть какую-то защиту эфемерную. Ну, или, по крайней мере, возможность в него спрятать тело зеленью изрисованное.

– Поешь пока. Голод не баба, в шею не вытолкать. И голову не забивай мыслями разными. Говорить опосля будем, как насытимся.

– О чём мне с тобой говорить? – машинально да не задумываясь, ляпнула Зорька с вызовом, что больше походило: «да пошёл ты, мразь поганая».

Тут раздался мерзкий хруст костей дичи жареной, что пред ним лежала на доске тёсаной, и мужик взревел в звериной ярости:

– Я тебя предупреждал, кажется, что дважды, тварь, не повторяю сказанного!

В мановение ока, паника без разборная, накрыла Зорьку с головой лохматой вместе с одеялом из меха тонкого, куда она юркнула полностью, спрятавшись да в ужасе не только зажмурилась, но и втянула в плечи голову. Ярица была уверена, что её сейчас будут бить и, похоже, чем ни попада...

Время шло, но ударов не было. Он в неё даже не швырнул ничем. Видать «зверь» подумал, что, ударив пигалицу, прибьёт ненароком. А она ему зачем-то живой нужна. Зорька поняла, что избиение откладывается, но и высовывать свой нос из-под меха не решилась всё-таки.

Было слышно, как он ест. Молча. С жадностью. А у рыжей, аж бока подвело от запахов да осознания того, что он ест, сволочь, а она голодная. Есть хотелось очень, но вылезать из своего укрытия кутырка побаивалась.

Просидев весь обед принохиваясь, да прислушиваясь к любому шороху, осталась девонька голодной, на слюну изойдя полностью. Зорька ни о чём не думала. Она просто сидела, трясясь как мышь да плакала.

Почему-то вспомнился кут родной, мама, сёстры с подругами. Что с ними стало? И где они теперь родные? Молодуха, что пёрла из неё в бане куда-то запропастилась и наружу вылезла кутырка зарёванная. Именно такой она себя и представила. Не нужны ей стали ни арийцы, не свои мужики. Ни нужна стала жизнь взрослая. Она к маме хотела, как посикуха мелкая. В беззаботное детство прежнее. Она уже не прислушивалась к звукам окружающим, не следила за этим «зверем» да оттого не заметила, как он поел, встал да пошёл к выходу. Лишь когда мужик заговорил со стороны, Зорька снова вздрогнула, да как бы ни хотелось ей, вернулась в этот мир кошмаров с мученьями.

– Слушай меня внимательно.

«А куда я денусь», – обречённо она подумала, – «зверюга ты тошнотная».

– Я помылся, наелся и поэтому стал добрый на загляденье.

Параллельно тому, как он говорил фразы растягивая, с некой сытой леностью в голосе девка про себя его слова комментировала, постепенно из покорной да зашуганной, превращаясь в сущую язву да «в бесшабашную дрянь с оторвою». А кто запретит? Она же сама с собой разговаривает, а эта сволочь мыслей её не слышит да лица с гримасами не лицезрит под мехами спрятанное. Почитай на каждое его слово сказанное, она вкручивала какое-нибудь гнусное оскорбление да при этом ещё рожи корчила. Вот только поначалу было бедно с фантазией, и все гадости были какие-то однобокие – говнистые. И помылся то он говном, и наелся того же в невероятных количествах...

– Я даю тебе выбор. Притом не один, а несколько.

«А я тебе высер», – продолжала язвить про себя кутырка злобная, – «и то ж хоть завались с горой выше темечка».

– Даю слово атамана, что исполню то, что ты выберешь.

«Да засунь ты его себе в жопу белую».

– Первый выбор. Ты жить отказываешься.

«Ага, размечтался, *** толстожопый».

– Я с удовольствием порублю тебя на мясо и суп сварю.

От такого поворота речей его, даже внутренняя язва запнулась обо что-то да подавилась на выдохе. Зорька глаза вытаращив сначала не поверила в услышанное.

– Мясо у тебя молодое. Суп отменный получится.

«Мама!» – прошептала ярица одними губами в панике.

– Выбор второй. Следующий.

Тут она уж прислушалась.

– Жить ты хочешь, но не здесь. Знаю я о твоих мечтах арийской женой заделаться.

«Что? Откуда?»

– Я продам тебя первому встречному в арийский коровник [65] на расплод да разведение.

«Ну, так ещё куда не шло. В арийский коровник я ни против. А то ишь, в суп он меня захотел, *** ***».

– Девка ты молодая и не дурна собой. К тому же как погляжу не пользованная. А значит продать можно будет хорошо и за золото.

«Да, я молодая и красивая, не то что ты урод с огрызком укороченным. Я даже рассмотреть его не смогла как следует».

– К каким бабам в загон попадёшь, и к какому хозяину, мне плевать. Продам кто дороже выкупит.

«Фу! А вот это мне как-то не нравится».

– Третий выбор.

«Так, что ещё ты мне предложишь говнюк ***».

– Ты хочешь жить среди арийцев доблестных, но не хочешь, чтоб тебя продавали кому не попадя, тогда остаёшься при мне со своей злобой и ненавистью.

«Да разбежавшись трахнись оземь, вонючка облезлая. На кой ты мне сдался, зверюга сраная».

– Я посажу тебя на поводок укороченный, и ты станешь коровой атаманскою.

«Ух ты!» – она скорчила ехидную мордочку и даже тихонько плюнула в его сторону, но, не вылезая из-под одеяла, естественно.

– Корова атамана – высокое звание.

«Да я прям рухну с этой высоты, шелудивый пёс».

– Среди других коров логова ты будешь вроде как старшая.

«Ну, с другой стороны, я чё ли большухой сделаюсь? Ну, это уже не плохо, как мне кажется». Зорька тут впервые призадумалась, что-то в голове начиная прикидывать.

– Подчиняться будешь только мне – своему хозяину. Будешь делать, что велю по первому требованию, притом, как, где и сколько мне будет надобно, и не приведи боги, слушаешься.

«А вот *** тебе с поленницу, глиста жопогрызная. Я на такое несогласная. Чай не в помойке себя нашла любимую». Она так вошла в роль беспредельщицы, что, напрочь забывшись, даже выпрямилась от гордости, высоко задрав голову.

– Выбор следующий.

«Да пошёл ты полем со своими выборами, недосерок ***, чтоб тебя кабан ***».

– Ты желаешь жить в достатке, властью обласкана.

«Ещё бы не желать, и ты мне в том деле не помеха, жопа ушастая».

– Не хочешь продаваться, а желаешь сама продавать.

«Да», – шепнула она, глубоко кивнув, с таким видом, что это уже решено как должное и пусть только кто посмеет оспорить это утверждение.

– Меняешь злобу на доброту сердечную, а ненависть свою на обожание и становишься мне женой законною.

Зорька в раз перестала дышать, глаза выпучив, да замерла с открытым ртом, где застряло зубоскальство матерное.

– Первой и пока единственной.

«Женой!?» – недоумённо переспросила она сдавленным шёпотом, не веря в слова услышанные.

– Рожать и воспитывать детей моих станешь да обо мне заботиться.

Это осталось без комментариев, потому что, впад в ступор заклинивший, Зорька молча пустила слезу одинокую.

– И наконец, осталось последнее.

Она продолжала слушать, но уже как-то рассеяно.

– Ты забываешь всё, что говорил до этого. Одеваешь рубахи свои грязные. Они валяются там, где их бросила, и я вывожу тебя из этого леса за засаду последнюю. После чего ты как ветер в поле свободная.

«Воля?». Глаза ярицы округлились да чуть не вылезли, сердце заколыхалось, словно на ветру тряпка порванная. Такого она вообще не ожидала от людоеда-похитителя.

– Притом свободна совсем. Не только от меня, но и от всего, что тебя раньше связывало.

«Что значит от всего?»

– Рода твоего больше нет, девонька. Я их всех продал за золото.

Зорька закусила губу до соли во рту, но боли не почуяла.

– Баймака тоже нет, я его пожёг до основания.

Сжала кулачки впивая ногти, ладоней не чувствуя.

– Что с тобой будет за пределами леса моего, мне не ведомо.

Ярица вскипела от услышанного. Хотела вскочить на ноги, но удержалась вовремя.
– Забуду, как сон. Найду другую. Не велика беда.

А вот это был уже удар ниже пояса. Говорить такое кутырке, всё равно что обозвать самолюблённую уродиной. Какая бы девка не была, с какими изъятиями, любую должны хотеть просто их по определению. Какой бы образиной ни казалась она другим, сама же в своём отражении любая отыщет неоспоримые достоинства.

И вообще. Любую бабу любить полагается хотя бы за то, что есть куда. Даже дуру можно полюбить за то, что местами умная, а за её богатый мир внутренний, так подавно все мужи должны с ума сходить. Тут Зорька не была исключением и её кипучее возмущение моментально на себя переключилось любимую. «Это как это забуду? А как же я?»

– Время на выбор даю тебе до утра завтрашнего. И отныне, Заря Утренняя – это имя твоё, а не кличка позорная. Ты человек, а не собака прирученная. Моё же имя – Индра. Запомни на будущее.

Он замолчал. А потом она услышала, как атаман покинул кибитку, на землю спрыгивая. Зорька ещё посидела прислушиваясь, да тихонько выглянула из-под одеяла шкурного. Никого. Ушёл.

И тут начался разбор на кости белые, как положено помыв при этом каждую. «Какова морда наглая. А? Нет, вы гляньте на него. Прямо *** с горы, круче не было. Жопу он отрас-тил... Да тьфу на неё! Вот сдалась же мне его жопа сраная. Прям глаза намозолила. Род он продал, баймак сжёл, сволочь ***. Куда идти? В степь голую? Податься в соседний баймак? Только чем там лучше будет, чем здесь теперь? А коли он и его сожрёт, как нас? Бежать-то выходит некуда, это ж смерть голимая. Лучше уж в суп пойти на съедение. Небось, зарубит быстро, а там глядишь, этим супом отравится. Я хоть и вкусная, но ядовитая... Нет, вы только подумайте, суп он захотел из меня сварить, да чтоб я на это согласилась словно дура набитая. Мудак жопастый. Тьфу! Опять я про его жопу вонючую. И имя он мне дал, видите ли. Ну, я тебе устрою ещё кошмары в жизни будущей».

Всю эту тираду внутреннюю, Зорька буквально прошипела через зубы сомкнутые, сидя на лежаке, в меха укутавшись да постоянно раскачиваясь взад-вперёд болванчиком, тупо уставив взгляд на накрытый стол с яствами. Наконец подведя итог разборов мыслью осознанной, что жопа у него всё ж ничего и ей нравится, порешила, прежде чем думать о будущем не мешало бы пожрать, как следует. Зорька скинула с себя одеяло сшитое, да с дикостью зверька голодного на еду накинулась...

12. Ничего не даётся за просто так. За всё счета приходят с суммами соответствия. Даже халява у нас, и та платная...

Ну, а в прошлом году вся седмица Купальная на редкость прохладной выдалась, но без дождя, почитай, и за то спасибо Валу Небесному. В Травник, [66] Зорька по лесу носилась как угорелая. Поутру раннему, росу собирала с травами. Сцеживала росу в сосудик глиняный, что плотно пробкой затыкался для хранения. Мимоходом травы ломая нужные да скороговоркой бубня заговоры заветные.

Девонька спешила. Торопыгой бегала. Надо было до восхода солнца красного, успеть ещё и на реку к Столбу Чурову, там, где с вечера подруги закадычные, четыре кутырки навывдане припрятали ушат огромный в секретных кустах, с помощью которого намеревались девоньки провести «обряд» потаённый, на прирост Славы [67] девичьей.

Четыре дурёхи малолетние сговорились да порешили меж собой: «А вдруг?». Вдруг у них всё получится, и их молодых да красивых, на кого не глянь, учуют мужики завидные из высокородных родов городских арийского происхождения. Тогда прощай баймак постылый да

здравствуй город с соблазнами роскоши да удовольствия все от жизни особ привилегированных.

Какая же девка речная не мечтала о сказке бесхитростной: выйти замуж за дородного да богатого, ну ещё за одно и красивого, а как же без этого, но обязательно арийского горожанина. А коль Славой под себя подмять суженого, так он ещё и мягким как пух делается. На все прихоти её с капризами станет чутко реагировать да подолом рубахи управляться, словно поводком укороченным. Не жизнь – сказка на ночь для счастливого сновидения. Ходишь себе, цветёшь, ни хрена не делаешь и получаешь за это всё, что хочется.

Хотя «сговорились» громко сказано. Заводилой Зорька была, естественно – командирша их четвёрки не-разлей-вода. Подружки лишь округлив глазёнки блестящие, поразевав рты губу раскатывая, кивали заговорщицки, будто дятел о дерево. Выражения лиц у подруг в тот момент имелось неопределённое, странным образом на нём перемешалось разное, словно Зорька предложила им что-то из рук вон запретное да постыдное, но при этом жутко любопытное да до чесотки в одном месте заманчивое. В общем, «и хочется и колется и от мамы в лоб отколется». Но хотелось всё же больше, чего кривить душой да на девок наговаривать.

Вот и спешила Зорька росу да травы собрать к тому времени. А для трёх «веников Славы» ей нужно было наломать предостаточно. Это ж почитай: три веника из девяти трав разного соцветия да по три травинки в каждом одного названия. Это ж сколько получится? Много, ведомо! Зорька до стольких и считать не умела, да и не пробовала, но точно знала, какие травы нужны для веника, а там по три травинки на три веника срывай, не ошибёшься как-нибудь.

Ярица себя любила очень, а местами даже больше этого и считала, что её красота небывалая да грязными мужицкими ручищами не тисканная заслуживает лучшей доли в будущем, чем при родном баймаке горбатиться почитай всю жизнь свою оставшуюся. Стелиться под вечно грязных да вонючих мужланов доморощенных, да беспрестанно рожать детей от них в перерывах меж огородными работами. Правда всё это она про мужиков слыхала лишь от баб взрослых, что меж собой иногда по пьяни судачили, ну, а рожать так тем более не приходилось пока, но уже по наслушалась.

Кутырка считала себя девкой заманчивой. С большим запасом Славы от рождения. Не то что у подруг её жизнью обиженных. Елейка – худоба костлявая. На неё ни один мужик за просто так не позарится. Ни один глазастый не увидит её за граблями огородными. Краснушка – страшилка длинноносая. Та своим видом не только ни приманит мужика, наоборот пугнёт любого куда по далее. Её только пугалом на огороды пристраивать, а не мужиков дородных привлекать да облапошивать. И тем более Малхушка – толстушка, пороса толстожопая. С её телесами вообще хоть плач да топись в слезах. Даже атаман ватажный, Девятка со своими ближниками все как один западали лишь на Зорьку-красавицу, а остальных девок и в «подпорки не ставили».

Да, избаловала её жизнь всеобщим вниманием. Ну и что? Коль родилась красивой да ладно сложенной, почему бы этим не пользоваться. В замухрышках ещё на старости насидишься, коль до этого дотянешь да от зависти на молодух наплюёшься ртом беззубым да слюной высохшей.

Собрав охапку травы в росе намоченной, кинув за пазуху сосуд плотно заткнутый, она со всех ног бежала к песчаному берегу. Наполнить ушат, загодя припрятанный, речной водой необходимо было лишь с всходящим солнышком. Другая вода для этого дела была непригодная.

Прискакала ярица в место условленное. Подружек ещё видно не было, а уже совсем светло сделалось. Солнце вот-вот из-за бугра покажется. Кинула на берег свой сноп травы, туго перевязанный шнурком плетёным заговоренным, вытащила из-за пазухи сосуд драгоценный, тут же рядом на земле пристроила.

Скинула пояс, рубаху верхнюю да нырнула в кусты за кадкой припрятанной, что оказалась тяжелой сама по себе, отчего пришлось тащить её за ухо волоком. И только тут Зорька подумала: «Что ж они дуры наделали? Ну, притащили пустой ушат, кое-как. А когда водой заполнят? Была же возможность поменьше взять. Так нет. Схватили самый большой от жадности. А всё эта Малхушка, дрянь, глаза завидующие. Всё-то ей мало. Всё-то ей побольше надобно».

Не успела Зорька с кадучкой управиться как из тумана редкого, предрассветного выпорхнула Елейка запыхавшаяся. Дыша ртом широко распахнутым, она кинула свой сноп травы на песок сырой да заметалась, будто приспичило. Зорька поначалу хмыкнула, наблюдая за её мельтешением, но оно так и оказалось в действительности. Елейка ломанулась к кустам, задрала подол, резко испугав кусты жопой голою, да зажурчала водичкой, тут же застрекотав, как сорока оголтелая.

– Ой, мама! Думала, что последняя. Так бежала, так бежала, чуть на ляхи не вылила. А остальные где? Неужто опоздают, козы драные? Ан, нет. Вон Краснушка чешет, тропы не разбирая, как лосиха перепуганная. А Малхушка-свинюшка, опоздает как должное. Вот помяните моё слово веское.

Тут она, наконец, сделала своё дело нехитрое, оправила подолы широкие на ней как на шесте висевшие да кинулась к Зорьке с помощью, на ходу рубаху с поясом скидывая. Хотя с её-то вичками вместо рук натруженных, толку было, как от рыбы в реке при сборе навоза на пастбище.

Когда ушат уже плавал, на волнах покачиваясь, а три кутырки вооружившись ковшми деревянными для забора воды солнечной, молча стояли по пояс в реке утренней, ожидая восхода светила с нетерпением, откуда-то издалека с берега до них донеслось жалобное бление Малхушки запыхавшейся:

– Девки! Меня подождите! Я быстрень...

Тут она резко заткнулась, споткнувшись да грохнувшись.

– Давай быстрее, – крикнула Зорька в ответ, даже не оборачиваясь да тут же тихонько добавила, – толстожопка ты наша неповоротливая.

Стоящие рядом кутырки, уже до костей промёрзшие, прыснули в губы синюшные. Зорька взглянула на них мельком да ужаснулась от увиденного, Подумав про себя: «Неужто, и я такая же?» За спинами послышался всплеск воды. Это Малхушка с разбегу в реку кинулась. До кадки волна дошла, и та взбрыкнулась да так, что Зорька её державшая, чуть бадью из рук не выпустила.

Ушат и без волны постоянно норовил опрокинуться. Толи неустойчивый был по своему строению, толи три руки, в края вцепившиеся, тянули его на раскоряку без за зренья совести, от чего он никак не мог сообразить, деревяшка долблёная, кому подчиняться да в какую сторону кидаться.

– Да тише ты, – рявкнула на подругу Зорька замёрзшая, оттого обозлённая.

Но опоздавшая будто и не слышала. Пёрла напролом, словно лодка под парусом, продолжая создавать волны великие. Только уцепившись за ушат да в очередной раз, чуть не опрокинув его к едреней матери, остановилась, тяжело дыша аж с голосовым присвистом.

– Хватай ковш, дура, – зашипела на неё Краснушка синюшная, – вон уж показалось солнце краешком.

И тут закипела работа чародейственная. Девки пригибались к воде текущей, так что груди под рубахами нижними ныряли в воду холодную, да всматриваясь в отражение словно в зеркало, ловили восходящий диск светила в ковши деревянные, как бы зачерпывая его вместе с водой речной. Вылив «пойманное» в ушат плавающий, опять мочили груди девичьи, вылавливая очередное отражение.

Зорьку уже колотило от холода. Дрожало всё тело, но почему-то руки особенно. Да и ноги чего греха подкашивались. К тому ж пальцы так окоченели, что едва ковш удерживали. Она то и дело внутрь ушата поглядывала, но тот, как назло, набирался медленно. Ещё нырнув пузом пару раз, она поняла, что больше не выдюжит. Коли задержится в реке хоть ещё на чуть-чуть, то попросту околеет, как рыба мороженная.

– Всё, кончаем девки, – проговорила она с явной дрожью в голосе, с трудом разжимая челюсти непослушные, а те только разомкнувшись, тут же принялись зубами стучать позвякивая.

Никто возражать не стал. Все дружно покидали ковши в ушат, да потащили его к берегу. Зорька глянула на Елейку рядом выплывающую да от испуга аж вздрогнула. Не Елейка это вовсе была, а Смерть ходячая. Лицо без единой кровиночки. С синей аж до черноты полоской губ безжизненных. С остекленевшими глазами ледяными да уж в предобморочном состоянии. Она передвигалась, не толкая посудину, а держась за её руками обеими, схватившись мёртвой хваткой побелевшими пальцами да тащилась из воды в нагрузку к ушату полному. Елейка бы давно запросилась на берег, но замёрзла так, что и «кыш» сказать была не в состоянии.

Дотащив наполненный ушат до мелководья песочного, они брякнули его на дно реки да сами на берег выскочили. Правда, не все. Елейку пришлось сначала отцеплять от посуды, а затем под руки выволакивать. Но тут оказалось, что в воде ещё было тепло! Бриз утренний схватил Зорьку за все внутренности ледяной хваткой безжалостной. По крайней мере, ей так показалось-померещилось. Зубы застучали так, что голова задёргалась, отчего девка никак не могла собрать в кучу глаза да сфокусировать их хоть на чём-нибудь.

Ярица обхватила себя руками да запрыгала, пытаясь хоть маленько согреться движением, но мокрая рубаха прилипла к коже как банный лист и высасывала последнее тепло из тела окоченевшего. Она скинула её не раздумывая, и принялась растирать конечности посиневшие, да плохо уже что-либо чувствующие. Девки по её примеру кинулись делать то же самое. Выскавав что-то невнятное себе под нос, Зорька принялась искать свою рубаху верхнюю. Она точно знала, что та была ещё сухой, не намоченной. Резкими движениями дёргаными кое-как натянула найденное да принялась опять прыгать как полоумная.

– Надо было хоть костёр развести, – пробурчала Малхушка недовольная, в воде, между прочим, просидевшая меньше всех.

– Ага, – огрызнулась Зорька скачущая, – все мы умные, когда задним умом думаем.

Четыре охватившие себя руками кутырки замёрзшие прыгали на берегу, то и дело что-то обидное выговаривая, да твякая друг на друга, как лисята дикие, чем-то жизнью обиженные. Ну, кто бы мог подумать, смотря со стороны на эту картинку идиотскую, что четыре замёрзшие пигалицы так Славу в себе выращивают. И мечтают, что все мужики при взгляде на них, красавиц невиданных будут падать в любовном оцепенении да ползти, протирая колени да задирая руки к ним протянутые. При этом плакать от умиления слезами с кулак, выпрашивая как подачку хоть капельку их божественного внимания.

Четыре дурёхи скакали так до тех пор, пока Краснушка синюшная не разразилась визгом душераздирающим, смотря куда-то на реку. У Зорьки аж сердце в пятки выпало. Она резко перестала прыгать и с ужасом окинула взором рябь водную. Зорька почему-то была уверена, что Краснушка узрела нежить водную. Притом, как минимум их большуху матёрую – Черту чёрную, от одного взгляда коей быть ей молодой да красивой бледно-синей помирашкой утопленной. Но обрыскав взглядом реку спокойную, не переставая дрожать от страха, спросила, как выстрелила, продолжая глазами выпученными, отыскивать погибель водную:

– Где?

– А я откуда знаю? – отвечала ей визгля, рукой на реку показывая, – видишь же, нет ни хрена.

– А раз нет, чё визжишь, дура синюшная?

- А кого нету? – тут вмешалась в диалог Малхушка вечно непонятливая.
- Ушата нету, – заорала на неё паникёрша, на реку рукой тыкая.

Только тут Зорька поняла, по поводу чего переполох Краснушка устроила. Пока они как четыре козы взбесившиеся, скакали по берегу, перекапывая речной песок, посудина благополучно уплыла вниз по течению. Все кинулись обратно в воду ледяную, задирая подола рубаш по самое горло да чуть ли не на голову. Ушат уплыл не далеко, так как рывками двигался, постоянно цепляясь за дно реки да за водоросли.

Отважная четвёрка его поймала да притащила на место прежнее. Только в этот раз вытащили на берег, чтоб не сбежала в очередной побег посуда деревянная. Притом волоком тащили, оставляя в прибрежном песке канаву глубокую. И тут, похоже, все задались одним и тем же вопросом мучительным: «И как же мы его погрём далее?»

- Ни чё, – тут же отвечала им заводила на их вопрос невысказанный, – зато согреемся.

Малхушка улыбнулась, Краснушка хмыкнула, Елейка никак не среагировала, тупо в кадку уставившись.

– Так, девоньки, – начала командовать Зорька нахрапистая, – Елейка с Краснушкой по бокам, Малхушка спереди, как самая здоровая. Ну, а я сзади пристроюсь так и быть. Берём за дно. Несём вон к той берёзе, что на развилке дорожной выросла.

Место, куда было надобно доставить ушат тяжеленный, было недалеко и ста простых шагов не было. Вон она одинокая берёза старая на поляне пристроилась, а перед ней в аккурат развилка тропы, что для их задумки обязательна. Нести всего нечего, да и берег пологий. Не в гору лезть. Но девки, то поглядывая друг на друга, то на кадку неподъёмную явно сомневались в своих способностях. Елейка, тупо на воду смотрящая вдруг подняла глазки жалостливые да выдала:

- Может, отчерпаем малёк? Станет полегче тащить, как-никак.

– Я отчерпаю кому-то, – тут же рывкнула Малхушка до всего жадная, прекращая все её панические измышления да указывая большим пальцем себе за спину, проговорила решительно, – там, каждая капля будет на вес золота. Ещё мало набрали, как бы хватило на всех, а ты «вычерпать».

Елейка обречённо понурила голову, понимая, что приговор окончательный и её здоровое предложение единогласно похоронено.

– Так, хватит пересудов пустых, – поставила точку командирша бравая, – глаза пугливы – ручки шаловливы. Подкапывайтесь под него, чтоб ухватиться, как следует.

Все четыре кутырки на коленки брякнулись да принялись рыть песок речной, словно не подкоп под ушат делают, а берлогу для бера обустривают.

Наконец все подкопы были сделаны и Зорька, заговорщицки на подруг поглядывая, напомнила самое главное:

- Воду несём молча. Чтоб ни единого звука не было.

– Может в рот воды набрать, – предложила Краснушка мысль дельную, – так вроде как с гарантией.

Сказано, сделано. Было бы предложено. С огромным трудом приподняли кадку неподъёмную, но, когда Малхушка стала перехватываться, чтобы взять её за спину, из уст Зорьки с Краснушкой послышалась осколками слов матерных в носовом исполнении. Только Елейка стояла молча, глаза выпучив да зачем-то надув щёки бледные. Вода в кадке колыхалась словно взбесившаяся, отчего ушат норовил кувырнуться в руках девичьих. Ну, наконец, Малхушка перестроилась, вода в ушате успокоилась, да и девки утихомирились, вроде даже как полегче сделалось.

- Гу-гу, – прогнусавила командирша, типа «пошли, давай».

И «несуны» в путь тронулись.

Елейка продолжала глаза таращить да щёки дуть от натуги перекашиваясь. По виду её замершему, поняла Зорька, что эта дурёха вообще не дышит. Ещё подумала про себя, не задохнулась бы с дуру-то, «недоношенная». Но тут худышка резко выдохнула через носик крохотный, да так же резко только с голосом, похожим больше на скрип колеса несмазанного, вдохнула грудью полную, вновь задержав дыхание, будто перед нырком под воду при купании. Зачем-то снова щёки надула, сжав губки до невидимости. Зачем? Да кто её знает? Наверное, ей так нести было сподручнее.

Краснушка моментально варёным раком сделалась. Та, в отличие от первой, наоборот дышала часто да поверхностно. Притом с каждым шагом её шумное сопение становилось громче, словно в гору карабкалась. Какая морда лица была у Малхушки толстой, Зорька не видела. Да не очень-то и хотела любоваться подобным зрелищем. Не раз лицезрела, как эта «жира» тужится. Приснится ночью, так во сне и похоронят увидевшего.

Далеко им кадку упереть не представилось. Буквально через несколько шагов сделанных со стороны Малхушки раздался громкий «Пук!!» нежданно-негаданно. Так как трое за ней несущие в тот момент вперёд смотрели, то есть в её сторону, то все трое разом водой выстрелили, что была у них во рту кляпами, прямо по Малхушке пукнувшей. Те, что по бокам несли, в уши плюнули, а Зорька в аккурат по макушке врезала.

Скукоженная под безмерной тяжестью да частично взвалившая часть ноши себе на спину Малхушка от такой нежданности резко выпрямилась, а Зорьку от приступа хохота наоборот сложилось вперёд, на бочку заваливая. В результате сам ушат и всё что было в нём набрано, оказалось на голове у командирши с гривой рыжею. Отчего та, усевшись на траву мокрою, верещала что-то гулким ором из-под ушата опустевшего, да на башку нахлобученного.

Утренний берег взорвался от звонкого хохота. Больше всех заливалась Зорька с пустой посудиною, куда не только голова пролезла, но и плечи по локти втиснулись. Проняло рыжуху так, что от истерики закатившейся, растратила силы все свои до полного бессилия. Даже не было мочи от плена избавиться. И то, что ей не удавалось снять с башки ушат нахлобученный, да собственный хохот оглушающий, внутри посуды, только ещё больше ввергал девку в приступ хохота.

Наконец обессилив вовсе, кутырка на траву рухнула, да только тогда на четвереньках задним ходом выползла. Девки уж ревели белугами, по траве катаясь живыми брёвнами. Лишь когда истерика отпустить начала, а живот болел уж до «не могу более», короткой судорогой изредка схватывая, Зорька, завалилась на спину да глядя сквозь слёзы на облака белые, проговорила тогда, тихо, не обращаясь ни к кому:

– Хорошо то как.

Словно с этой истерикой безудержной вылетело из неё суматошное утро ранее всё в бегах да припрыжку суетную. А вместе с ней затерялся в памяти и леденящий холод реки, пробиравший до зубовного лязганья. Забылись и невероятные усилия, что пришлось приложить к этому ушату проклятущему. Всё куда-то улетучилось. Осталась только лёгкость во всём теле да радость в голове, вымокшей...

И теперь, сидя далеко от родимых мест в чужом краю пугающем, она вдруг почувствовала себя так же легко и весело. Зорька, на лежанке удобно пристроившись, укуталась в мягкое одеяло пушистое и при этом тихо улыбалась, и плакала. Плакала от умиления, упиваясь былыми воспоминаниями о счастье таком простом и таком не оценённом вовремя.

Тогда таща домой пустой ушат с мокрыми рубашками, они хохотали до слёз всю дорогу недалёкую, не раз и не два ещё роняя на землю посудину несчастную. А Краснушка тогда ещё в шутку упрекнула её, что, мол Зорька всю Славу собранную, на себя одну израсходовала. Куда теперь арийским мужикам деваться, как за Зорькой ни бегать да в жёны не выпрашивать.

– Как в воду глядела, – тихо прошептала ярица не без удовольствия.

Как бы она ни хорохорилась. В какую бы позу не вставала гневную, но её положение было таким же, как у родственников за одним исключением. У неё был выбор между рабством и значимостью, и она выбрала последнее. Мечта любой девки речной – выйти замуж за арийца дородного. Пусть этот не такой, как ей грезился, но она про арийцев вообще мало что ведала. Только то, что девки ввали меж собой, кому что вздумается. А этот вон хоть и лют как зверь, а добром в жёны зовёт. Грех от такого отказываться.

Про другие выборы уж позабыла да вспоминать не хотела, чего таить. А тут ещё вспомнила Нахушу, атамана мужицкого, что примерялся к ней молодой, кабель старый дурно пахнущий, отчего совсем перестала жалеть баймак загубленный. Хотя окромя него и других вспомнила в те дни Купальные...

Следующий за Травником, Купала [68] был. Мама ещё с вечера для Зорьки с Милёшкой баню приготовила. Зорьке, Славу напаривать было не в новинку. Дело привычное. А вот Милёшку мама загнала впервой. У неё, правда, тогда ещё ничего и не выросло, но мама посчитала, что уж пора и ей заняться, как следует.

По-хорошему, для такого дела звали колдуна, но глава их семьи почему-то Данаву недолюбливала и никогда не звала к себе да ни о чём не просила лысого. Зорька не знала почему, да никогда интереса о том не высказывала. Какая крыса пробежала меж ними, Зорьке было не ведомо. Просто знала, что мама колдуна сторонится и когда он в баймаке объявлялся, что бывало редко всё-таки, она всегда от него пряталась. Коли мама сама колдовала, значит так было нужно. Ей виднее. Она же мама, всё-таки. Зорька как-то спросила её, почему она всё делает сама, на что та ответила, мол лучше мамы детям никто не наколдует, так как кровь одинаковая и ближе её всё равно не сыщется. [69]

Для бани за водой Зорька бегала с Милашкой на три источника. Вместе вязали «веники Славные» из трав собранных. Ярица при этом себя взрослой чувствовала да всё знающей, обучая младшую сестру этому, в общем-то, делу не хитрому. Мама парила дочерей по очереди, делала это красиво, торжественно. Зорька всегда любила смотреть на колдовство мамино. Её всегда это буквально завораживало.

А опосля торжества да восторга всё настроение испортила, заставив Зорьку мокрую рубаху стирать, что с утра притащила с берега да всю в зелёной траве у стряпала. Пурхалась с ней девка до глубокой ночи, а когда добралась до лёжки шкурами заваленной, уснула так, будто потеряла сознание.

На следующее утро все встали, как обычно, окромя Зорьки не выспавшейся. Та просыпаться наотрез отказывалась. Даже когда мама рявкнула в её сторону, кутырка лишь села, спустив ноги на сено напольное, но продолжала сидя сны досматривать. И только получив воды ледяной порцию, глаза её распахнулись, и ярица была из сна нещадно выгнана.

Дел было невпроворот, а когда в баймаке отдых был. Весь этот день она обязана была возиться с мелюзгой кутовой. Это их день по праву был. У малышни праздник великий, а у Зорьки сплошное наказание. Для начала надо было опять баню греть, воду натаскивая. Мама в этот день проводила «слив поскрёбышу». В былые годы и других мальцов «сливала», но на тот год решила только им обойтись, других не трогая. Зорька даже помнила, как и её пару лет назад «сливала» мама, когда она где-то хворь подцепила заразную.

«Сливать» ребёнка собственного дело, в общем-то, не хитрое. Мама садилась на полог, а под себя меж ног поскрёбыша усаживала. Воду грела до тепла, поливала ею на себя, а та, стекая с тела, попадала на ребёночка. Напрямую лить на дитё нельзя, оказывается. На него должна попадать вода только с тела мамы, ибо только такая вода будет полезная для него да лечебная.

Грудничков только так и купали, и никак по-другому не делали, а в грудничках поскрёбыши ходили годков до трёх, а то и более. Бабы, нарожав детей полный кут, старались грудью кормить как можно дольше, чтоб матёрая не доставала их с последующей беременностью. Остальных детей «сливали» лишь по маминому усмотрению.

К тому времени как солнце над головами поднялось, мама ушла на бабьи сборы общие. У одной на Роды [70] родился ребёнок увеченный. Сам худой, живот большой и плачет безостановочно. Вот большуха и решила переродить его в Матери Сырой Земле по ритуалу древнему. Для того весь бабняк и собирался для общего мероприятия. Зорьке очень хотелось на это действо взглянуть хоть одним глазком. Слухи ходили по баймаку с самой Троицы. [71] Такое не часто делалось. Любопытно было до «не могу», но мама не пустила. Надо было готовить на всю семью чистое, а малышне и вовсе новое одеяние. Доставать из закровов, собирать да аккуратно укладывать. Это был день смены белья всего поселения.

Посикухи достигшие семи лет от роду переходили в разряд пацанов с кутытками, но в их семье посикухи были ещё малы и не дотягивали до переходного возраста. Они и дальше ходили посикухами. А вот маме, как бабе бабняка Данухино да Зорьке с Милёшке, как девкам в возрасте в реку лезть придётся, не открутишься. От одной этой мысли рыжую аж передёрнуло.

Зорьке второй день Купальной седмицы не нравился. Скучный был. Одно слово – детский день. Вот перерождение в Матери Сырой Земле она никогда не видела, потому было жутко любопытно до нетерпения, как это грудничка в землю закапывают, ну опосля вынимают уже здоровеньким, словно заново народившимся?

А то, что с посикухами делается – тоска зелёная. Ну, выйдут все на реку к берегу низкому. На песок рубахи новые разложат аккуратной стопочкой. И с нудными песнями попрутся в воду холодную, там разнагишаются догола да старые рубахи пустят по течению. Зорька почему-то не очень верила в то, что отпущенная по реке одежда уплывает к Дедам. Хотя... Говорят, ни конца, ни края у этой реки не было. Она, конечно, так далеко не проверяла, не бегала, но даже взрослые меж собой на полном серьёзе гуторили, что проще помирашкой стать да оказаться в Дедах праведных, чем по реке до них добираться вплавь в любую сторону. Может и правда это. Зорька это и проверять не думала.

Затем все от посикух до самой древней вековухи поселения, что в их роду Дануха значилась по возрасту, голышом выходят из реки да одевают рубахи новые. Для всех это действо рутинное, из лета в лето привычное, ну окромя посикух кому это в первый раз. Посикухи рода женского впервые в жизни одевают не посикушную одежду бесполою, а настоящие рубахи, бабьи, хоть и размера маленького. С этого момента становятся они кутытками. Только пока самыми малыми – девчонками. Мамы заплетают им косу первую, в ушах дырку колют да вставляют первое украшение девичье, как правило, из пуха гусяного.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.